**ЛЬЮЩИЙСЯ СВЕТ**

 **или**

 **Несколько мгновений из жизни синьора Микеланджело Меризи де Караваджо.**

 **Драма-роман в трех актах.**

**Микеланджело Меризи де Караваджо, итальянский живописец.**

**Марио Минитти по прозвищу Сицилиано, итальянский художник и друг Караваджо.**

**Кардинал Франческо дель Монте.**

**Мирелла, или же Элен, куртизанка и проститутка.**

**Джордано Бруно.**

**Д’Арпино, Галло, Цукарро, Грамматико и Джентилески – известные итальянские живописцы.**

**Бартоломео Манфреди, Спада и Марио дель Фьоре – итальянские живописцы и ученики Караваджо.**

**Прохожие, проститутки, хозяйка трактира Анна-Мария и его посетители. Народ возле Кампо-дель-Фьоре. Стражники и папский квестор. Нищие и зеваки.**

**Риччо, то есть Рикардо Франделли – порученец герцогского дома Строцци в Риме, любящий выпить и помахать шпагой человек возраста самого Караваджо.**

**Мантелотти, секретарь кардинала дель Монте.**

**Папа Павел V**

**Таддео Ордолизо, его личный порученец и секретарь**

 **Пролог.**

***Сцена погружена в полный мрак, из которого доносятся далекий шум моря и чуть более сильный и близкий шум селения, а кроме того – хрип и тяжелый кашель. Так длится какое то время. После – откуда-то сверху пространство сцены начинает заполнять луч лунного света, в котором проступают типичное итальянское селение с развалинами чуть поодаль, придорожная канава и возле нее – прислонившийся к стволу дерева, тяжело кашляющий и с трудом пытающийся надышаться человек. Это Караваджо.***

**Караваджо. (*после очередного приступа кашля*) Проклятье!... Душа это что ль выходит в последние минуты вместе с кровью, которую из меня тянули всю жизнь безжалостно… (*Вновь заходится в кашле*) Да, всё… это конец… Всё говорит о том. Еще никогда грудь не была так сперта, а слабость не сбивала с ног и заставляла мир, словно танец Вельзевула, крутиться в глазах… (*Молчит какое-то время*). Всё кончилось, синьор Микеле, последий мазок своей жизни ты вынужден сделать тут… (*несмотря на просящийся кашель и тяжесть дыхания, произносит далее с сарказмом и попыткой засмеяться*) Умирать в сточной канаве, на обочине деревенской дороги!... (*стискивает с яростью зубы и начинает то ли рычать, то ли выть, ослабевает*)… Остался бы у моря… хоть соль в ветре немного бы ласкала ноздри и горящую грудь, и было бы не так душно… а волны придавали бы сил и мужества душе… Ушел бы и сгинул безвестно, быть может – грядущим штормом был бы забран волнами в уходящую к Сицилии даль… Оставил бы не могилу, а полотна и имя… А может, обглодали бы собаки… Бесславно, горько… Словно плюнуть себе в лицо смертью, прожив короткую, полную страстей и борьбы, но достойную жизнь. А дополз бы – меня конечно похоронили бы по людски… Зря что ли Папа всё-таки обещал буллу о прощении… (*начинает с горечью и зло смеяться, а потому вновь заходится в долгом кашле и судорожных вдохах*). О, проклятый Павел… Лживая лиса… Убийца с маской праведности на лице… Муж-тиран, до смерти мучающий жену, но ото дня в день ставящий свечку в кьезе свечку и верящий в место в раю… Если ждет суд Господень, а не тьма и пустота, которую так часто рисовали за жизнь мысли, то тебе и прислужникам твоим, тысячам наивных «простецов», худших, нежели римские бретеры, рьяно рвущих на куски по твоему велению или орущих возле устроенных на Кампо-дель-Фьоре костров, суждены вечные муки ада, хоть говорите и творите зло вы от имени Господа и райских кущей, благочестиво крестясь… Я скоро узнаю, что есть истина… О, боже… Умереть в сточной канаве, мне… *(невзирая на все начинает в голос, сколько есть сил кричать*) Мне!! Написавшему Казнь Святых Петра и Павла… Миреллу, навечно оставшуюся образом Мадонны, судящей трусливых, преклонивших перед ней колени скотов или почившей с миром… а моя Юдифь… А святой Иоанн-Креститель, светом и чистотой линий вышедший прекраснее молодой Богоматери или какой-нибудь флорентийки у Джордоне и Рафаэля! А как ломали умы над загадкой света, непонятно откуда падающего на лицо мальчишки Чиччоно, сына трактирщицы… А мой Матфей! (*заходится в кашле и ослабевает, но внезапно немного успокаивает дыхание*) А мой Матфей!! Линии и свет, ставшие языком вечной истины… Кто сумеет понять, благословит мое имя… А кто нет, будет просто стоять завороженный, чувствуя великую, но недоступную загадку… А десятки других холстов… Многие из вас канули безвестно, но я помню, как рождался во мне каждый… Искры мыслей и чувств, ставшие линиями… Люди и события судьбы, превратившиеся в лики святых и мучеников… У меня нет детей, но вас, детей моего духа, моей мучавшейся и творившей долгие годы души, привел на свет *я*… навсегда… Я родил вас, трудом и любовью души, которая сейчас сочится болью… Умирая в придорожной канаве, вижу вас и спокоен, сколько вообще дано человеку… Я должен был, мог еще пожить… Я мечтал написать «Голгофу»… Распятый миром человеческий дух… Любовь, казнимую адской прихотью рабов… быть может самое главное… Я мог купаться в золоте, есть досыта и спать в тепле, а умираю в канаве возле забытой богом деревни и буду обглодан собаками, если только рыбак чудом не найдет меня раньше, потащившись с рассветом к барке… Потому что вы боялись моего света, ненавидели его… Ибо в ваших осененных распятием душонках царил мрак… И только мои дети, рожденные где-то в душе, а после – руками, дарят мне в эти минуты силы, достоинство… (*Пытается потихоньку встать, на несколько мгновений ему эту удается, после падает снова и может ужде только шепотом хрипеть*) Художник света умирает канальей… (*Смеется, рычит и плачет одновременно)* О, папа Павел!.. Вы гнали меня, обрекали быть убитым по чьей-то прихоти, грозили адом… Я мог сломаться, сгинуть в бедности или темнице, всего этого не написать… А я победил!.. (*Переводит дыхание*) Я победил… Бедняки с чистой душой будут дрожать под моими полотнами, а души их наполнятся светом… Тем, которым жил я… Богачи будут закладывать имения, чтобы купить их, хотя сам я долгие годы не знал сытости… Десятки талантов, которые Бог конечно еще пошлет на землю, будут учиться под ними, тратить жизни, чтобы постичь их тайны, и до конца не смогут этого (*улыбается счастливо*) Если есть ад и рай, меня ждут рай и свет… А если нет ничего… Вас ждут проклятия или забвение, а меня вечность… Вот, всё… умираю, нет ошибки (*торопиться сказать последнее, хватает воздух и остатки сил*)… Папа Павел V – я плюю на тебя, твое прощение и буллу, которой я так и не держал в руках!.. Ты погубил меня, словно собаку заставив бежать по странам и весям, терять силы, которые и без того из меня уходили… Ты ненавидел истину и божий свет, которые я вкладывал в холсты… Проклинаю… (*падает на спину, начинает затихать*) О, Господи… создавший меня… Отдаю тебя в твои руки, со всеми грехами и делами любви… Ты видел, что я хотел быть достойным дитям твоим. О, боже!!**

 ***Сцена погружается в полный мрак.***

 ***Сценическое интермеццо, в котором картины римской жизни времен Папы Климента, гомон рынков и карнавала, обольщение проститутками клиентов на узеньких улочках и звон бретерских шпаг, перемешаны и погружают в атмосферу, из которой разворачивается дальнейшее действие.***

 **Акт I.**

 **Картина I.**

***1594 год. Караваджо 23 года, он не так давно приехал в Рим, видом и выражением лица не по годам зрел, мудр и кажется пожившим жизнь человеком. Трактир возле рыночной площади Кампо-дель Фьоре, небольшой. Караваджо сидит за столом, пьет вино, возле него сумка с холстами и кистями, а так же странная старинная шпага. Рядом кутит компания, с интересом и задорной враждой поглядывающая на него.***

**Караваджо. «Вино взогреет кровь густую, дичь взбудоражит аппетит…» Так вчера пели на рыночной площади. На хорошее вино деньги остались, а на дичь нету. Желудок бунтует, а душа одобряет и благостна. Пусть так. Без вина нельзя никак. А уж коли пить, так хорошее, из окрестностей Флоренции. Какие там бывают виноградники под холмами! А какое там солнце… В Милане такого нет. Оттуда свет, который так восхищает в моих картинах! О тосканское солнце, ты пришло светом в мои холсты, полное легкости и мудрости, умеющее одновременно сиять и скрываться в тучах. Римское слишком жарко. Как костры святой инквизиции после нового неаполитанского мятежа…**

**Первый посетитель. Взгляните-ка на этого мрачного человека. Он точно чужак в Святом Городе. Сколько он тут – пару месяцев? (*Пьет*)**

**Второй посетитель. Судя по обноскам, в которые превратилась его провинциальная, откуда-то с севера одежда – никак не меньше пары лет. (*Смеется, потом чуть громче*) Нищие с ватиканских папертей одеваются и то лучше! А одежда каторжников в кандалах из Сан-Анджело, которым разрешили подышать солнцем, грузя барки – по сравнению с этим просто герцогский наряд! (*его собутыльники смеются*).**

***Караваджо поворачивает голову, но не отвечает.***

**Третий посетитель. (*через некоторое время*) Нет, чужак или просто давно ночующий в римских канавах, этот человек мне решительно неприятен.**

**Проститутка, пьющая с ними. (*полушепотом*) А меня он даже пугает. И сама не пойму чем.**

**Первый посетитель. В самом деле. Мрачен, как священник, которому предстоит ехать на телеге в горы, отпевать бедняка.**

**Третий посетитель. Пьет с горечью, словно не тосканское вино, а крестьянскую настойку из крапивы. Я пробовал такую однажды, возле Флоренции, в селении тех несчастных, которые чтобы выжить, с зари до заката рубят камень. На вино у них денег нет.**

**Второй посетитель. А вот у него, смотрите-ка – есть. Но не заказал при этом даже фруктов. Значит скряга! Сын какого-нибудь ломбардского менялы, который с детства и по гроб, даже если дом ломится от золота, считает каждый медяк. (*Смеются*)**

**Проститутка. Да нет! Такой хоть и считал бы содержимое кошелька, но хоть курицу бы себе на стол заказал и не был бы одет так отвратительно.**

**Второй посетитель. Да конечно же нет. Мы просто смеемся. (*Через какое-то время* *и в голос*) Просто не любим мы непонятных и странных людей. Черт знает, что жди от таких. А этот всем странен.**

**Первый посетитель. Взгляд тускл и пуст, но не от вина, и тяжел. О чем-то всё время думает напряженно. Видать тяжелые грехи за ним водятся. Человек с душой праведной, очищающей ее по воскресеньям исповедью, если пьет такое вино, то будет радостен и светел, а не словно зимняя туча мрачен и тяжел. Вот скотина! Убить бы, ей же Господи.**

**Проститутка. Я поняла! Он вор, один из тех, наверное, кочующих по весям, что ни работы как следует ни знают, ни платить дани не могут поэтому римским «гранде ладро». И потому довольствуются удачей, что выпадает редко, спят черти где и беднее даже тех, кто пашет землю. Вот и этот – видать месяц спал под папертями да голодал, обокрал кого-то и от радости празднует. (*Проститутка глядит на Караваджо с презрением, а трое мужчин – с ненавистью и враждой*) Каков глупец!**

**Первый посетитель (*наливая всем*). Ничтожество!**

**Второй посетитель. Ла буффоне!**

**Третий посетитель ( *в полный голос и ничуть не стесняясь*) да такого «скьочеззе» в приличный трактир и пускать не должны, тем более – в центре Рима.**

**Второй посетитель (*так же в голос и поддакивая*) О чем и речь друзья! Ладро! (*чуть громче и даже повернувшись к Караваджо*) Маскальцоне! Бекиньо! Нет бы купить себе целые панталоны и чистую рубаху из хорошей материи, чтобы не противно было на него взглянуть, так он пьет вино, которое не всегда по карману даже дону Риччо, хоть он и служит у герцогов Сфорца! «Ступедо»! Что это пытается мнить из себя!**

***Караваджо всё это время слышит, что говорят о нем, пару раз повернул голову и пристально поглядел на оскорбляющую его компанию, но остался каменно спокойным и просто продолжает пить. От чего разъярил компанию напротив еще больше.***

**Первый посетитель. *(менторским тоном и в сторону хозяйки трактира, которая возится к вертела и стола)* Заглянут достойные люди в приличное место, чтобы немного отвести душу (*гладит с улыбкой проститутку по заду*), а вынуждены натыкаться за соседним столом на такую сволочь, что кусок в горло не полезет! (*все зло и в голос смеются)***

***Караваджо при слове «сволочь» повернул голову и долго смотрел на смеющихся, но сохранил спокойствие и в этот раз.***

**Первый посетитель. А гляньте-ка – у него там, возле стены за столом, шпага. Откуда только взял такую! Странная не меньше, чем он сам!**

**Третий посетитель. Значит не вор. А может бретер, убийца, который бежит от суда, пока есть сил и денег? Надо быть поосторожнее!**

**Второй посетитель. Да пусть только…**

**Первый посетитель. Остынь-ка и вправду пока! Он прав.**

**Проститутка. Да ладно, в самом деле! Оставьте несчастного. Он смешон уже одним тем, что живет или позволяет себе заходить в приличное место и вести себя так странно. Фу! Еще чего доброго испортит нам вечер.**

***Компания и вправду на какое-то время отвлекается.***

**Караваджо. Хуже деревенских детей, вот точно. Те даже бывают умнее. А погляди-ка – зажиточные римляне. Почти сумели меня разозлить. И ведь даже не знают, чем это может кончиться. Вино дорогое, вправду. Панталоны назавтра вновь порвутся о камни или ветки, смотря где придется спать римским летом, а вино чуть вольет в тело и душу силы *(кашляет*). И тот папский нунций, который две недели назад, несмотря на злобную клевету подмастерий Галло, купил у меня за шесть скудо «Лютниста», моего милого Сицилиано, которому я придал кистью несвойственную любовь к музыке и сильную грусть, подарил мне право выпить хорошего вина. А без вина нельзя никак. Слишком уж в душе и мыслях разверзается мрак… Что будет?.. Стремится человек к свету, хочет залить светом, который в душе, холсты и окружающий мир, саму жизнь, а обречен на грязь. Вон, на злобу подобных скотов. На бедность и зависть. На хитрое умение губить чей-то божий дар, самому вообще никаким не обладая… А сколько дано жить, прежде чем Господь или мрак из мыслей заберут тебя?.. (*С горечью наливает и пьет*) За те полтора месяца что я проработал у в мастерской у Галло, в Трастевере, я не знал от собратьев по кисти ничего человеческого – злость и зависть, желание подставить ногу, зато полное нежелание задуматься и понять, что движет мной, когда я пишу… Так непонятное им. А в мастерской Д’Арпино мне милостиво позволили писать цветы и листья на фресках… (*смеется зло и с отчаянием*) Здесь обретешь кров и покой – так затравят и не дадут работать. Тот кардинал или высокомерный богач явит милость, обогреет и приютит – так потакай его прихотям и губи порывы и талант *(пьет и смотрит некоторое время полным горечи взглядом в пустоту*) И вот, всё что я нажил в 23 года – дырявая котомка, шпага да полтора десятка холстов, из которых стоит чего-то половина… А жизнь проходит… и как в ней что-то настоящее суметь и успеть? Как добиться? (*С нешуточной злостью бросает взгляд на издевавшуюся над ним только что компанию*) Злобные и пустые звери, в которых Господь только тем и есть, что родились похожими на людей… Скоты… Губят в страстях и лжи жизнь, которой я, сколько отпущено, хочу служить любовью… Да понимают ли, кто сидит рядом с ними и вынужден всё это слушать!.. *(свирепея)* Эй, хозяйка! Какое есть самое лучшее вино в твоем погребе?**

**Хозяйка трактира. Вдосталь отличных вин и из Италии, но самое лучшее, которое мы подаем только знатным синьорам – с юга Франции. И часто его покупают из церкви Сан-Луиджи-дельи-Франчезе или из окружения самого французского кардинала, ведь редко кто понимает в Риме в таких вещах. Да только что тебе? У тебя на такое вино всё равно денег нет!**

**Караваджо. А сколько же стоит твое французское?**

**Хозяйка трактира. (*медленно подходя и глядя с интересом и задором*) Тебе, несчастный и простывший, непонятно откуда свалившийся замухрыжка, я продам две бутылки за половину скудо. Из жалости. Господь Иисус и дева Мария велят нам быть милосердными. Если не слишком страдает из за этого кошелек.**

**Караваджо. (*спокойно и раздельно*) Не надо мне от тебя ни жалости, ни подачек. (*Медленно достает с пояса кошель, вынимает играющий золотом новенький скудо, поворачивается всем телом к компании, и глядя пристально на нее, бросает на стол и громко произносит)* Одну я уже выпил, а душа сегодня полна не светом, к которому я привык, а мглой, адской. И потому возьми этот скудо и принеси мне на него три бутылки твоего чудесного вина. Только берегись, чтобы оно не оказалось дурным, а слова твои не были ложью. (*самому себе*) Итак, осталось у меня на всё про всё только четыре скудо из шести, удачей выпавших две недели тому. А и черт с ним! Хочу отвести сегодня душу. И этим наотмашь влепить.**

**Хозяйка трактира. (*медленно и с интересом поглядывая)* Смотри-ка! Ишь какой! Поди знай, кого это на самом деле занесло сегодняшним вечером! С эким гонором держит себя, это в дырявых-то панталонах! Еще окажется каким-то неаполитанским синьором, который бежит от расправы, ибо слишком поднял голову против испанского сапога! Да только зачем же бежать в Рим? Тут нынче самое пекло! Ах, как же интересно! Так, что прямо начинает сладостно зудить, и совсем не в душе! (*Караваджо*) Уже несу! (*Исчезает*)**

**Первый посетитель. Нет, ну это уже стерпеть нету никаких сил!..**

**Второй посетитель. И вправду, кто же выдержит! Бездомная и грязная дрянь, «скьочезе», которая где-то раздобыла шпагу времен Медичи и выбрасывает при этом целое состояние ради бутылки вина для графов или кардиналов!**

**Третий посетитель. Плевать я хотел на его шпагу, я с ним сейчас разберусь.**

**Второй посетитель. Если что – схвачу вон шомполы для баранов, они пострашнее шпаги будут.**

**Первый посетитель. А мне хватит сил огреть его столом – кто с таким сдюжает?!**

**Проститутка. Эй, прекрасный синьор в грязных штанах и рубахе, которая воняет всеми римскими нищими. Не желаете ли попку от нашей курицы – мы такое не можем есть, даже если очень голодны! А с вами поделимся.**

**Первый посетитель. Не хочешь ли, чтобы мы заказали тебе бараьни кишки – вон они валяются возле очага? Ведь чем-то же надо закусить три бутылки дорогущего вина! (*Компания смеется)*.**

**Проститутка. (*вертя задом* *и издеваясь)* А не хочешь ли ты моей попки, согласись – она хороша! Да только в твоем кошеле не осталось вдоволь для этого денег. А если и осталось – жадность не позволит тебе, как не дала купить новые панталоны! А даже если и позволит, я подобным глупцам не даю потискать зад и за тройную плату!**

 ***Трое посетителей и проститутка вплотную обступают стол Караваджо. Он спокоен, хотя напряжен и присел собранно на стуле.***

**Третий посетитель. Вы поглядите-ка на эту шпагу. Екатерина Медичи наверное увезла ее с собой во Францию приданным. А потом прислала обратно, ибо там пришлось ни к чему!**

**Проститутка. (*со смехом, злостью и задорной издевкой*) Она похожа на рыцарский меч – пока размахнешься, получишь от наших римских бретеров сразу три удара! А если говорить о доне Риччо, так и целых пять!**

**Второй посетитель. Такая шпага принадлежит конечно же потомку только очень знатного и древнего рода!**

**Первый посетитель. Вот только обедневшего! Прогоревшего в прах! Ведь на панталоны без дыр не хватает, а чтобы не ходить за козами, остается только красть!**

***С этими словами Караваджо в один момент умудряется схватить огромную и длинную шпагу, вместе с ножнами сносит ею с головы Первого посетителя высокую шляпу с пером, чем заставляет его в испуге и опешившего пригнуться. После, моментально вынимает шпагу из ножен и приставляет к его горлу. Остальные, вопреки только что бывшей храбрости, отскакивают метра на три и жмутся. Караваджо ведет шпагой к горлу Первого посетителя по кругу и припирает к стенке.***

**Караваджо. Шпага эта и вправду стара, ей сто лет. Досталась она мне от одного мальтийского рыцаря, которого занесла судьба в Милан. Он подарил ее мне, в благодарность за красивый рисунок оливы, что росла недалеко от двора. Один из первых, что удались мне вправду хорошо. И хоть было это давно, с тех пор я ношу ее с собой и пользоваться ею, как ты видишь, умею. И имею право. Рода я не знатного, но отец мой, пока чума не забрала его много лет назад к Господу, служил управляющим у герцога Сфорца, в деревеньке Караваджо, и право носить шпагу имел. И зовусь я поэтому тоже Караваджо. А деньги добываю на жизнь не воровством и не торговлей упряжью, как наверное ты или твои собутыльники. Я художник, живописец. Ты понял? Я живописец, то есть самого высшего людского рода, перед которым знатность и богатство пустой звук, ибо служит этот род делу божьему больше, чем аббаты, а причастным ему делают дар небес и любовь? Ты – понял? (*Припирает Первого посетителя шпагой к горлу еще сильнее, тот в ответ что-то хрипит и лишь показывает руками, ибо сказать не выходит*)**

**Проститутка. (*со смесью страха, уважения и очень торопливо)* Любезный синьор, простите во имя Мадонны! Мы ошиблись и не хотели обидеть вас. Мы выпили слишком много дурного вина и оно поколебало нам ум. Простите Витторио, он достойный человек и тоже находится лишь во власти вина. Не убивайте, пощадите его! И всех нас тоже простите!**

**Второй посетитель. Быть может, любезный синьор согласится, чтобы в качестве искреннего извинения мы заплатили за то вино, которое должна принести хозяйка, хоть оно и очень дорогое?**

**Третий посетитель *(видя, что Караваджо еще больше прижал шпагу к горлу Первого посетителя)* А если пожелаете – составим вам искреннюю компанию, заказав на стол еще и баранью ногу, и восславим вас!**

**Караваджо. (*продолжая держать шпагу у горла, но немного отходя душой*) Так ты понял? (*Превый посетитель мотает головой и хрипит, чтобы показать, что не может говорить, и махает изо всех сил одорбрительно руками).* Что же… и вправду не стоит омрачать вечер. (*Отходит к столу, ничуть не боясь удара сзади)*. Пейте и ешьте на здоровье, оставьте только меня в покое. Не мешайте, ибо не светом, мраком и болью полна моя душа сегодня. (*Садится, а компания, только что оскорблявших его, притихшая возвращается за их стол).***

**Третий посетитель. Вот так-то! Бывает же! Бретер-художник и нищий пропойца с золотыми скудо в кошельке! О, Мадонна!**

**Второй посетитель. (*по прежнему с мрачной враждебностью)* Еще не поздно всё исправить. Он ловок, но наивен, и если мы сейчас тихо обойдем его…**

**Проститутка. (*огревая его по затылку*) Ах же ты негодяй! А ну перестань! Мало ли что бывает в жизни! Обидели быть может хорошего человека! Да к тому же – хоть ты сальтареллу спляши сейчас, но он во второй раз тоже окажется ловчее и хитрее тебя!**

**Третий посетитель. Она права! (*К Караваджо, искренне и с почтением, хоть и не без подтекста.)* Любезный синьор! Разрешите нам хотя бы полюбоваться на ваши полотна, которые, я сейчас вижу, свернуты у вас в дорожной сумке, выразив вам восхищение!**

***Караваджо несколько мгновений глядит на них, после – не без тени удовлетворения.***

**Караваджо. Что же… извольте.**

***Вынимает неторопливо из котомки холсты, разворачивает на столе. Четверо остальных, притихшие и восхищенно обступают.***

**Проститутка. (*с искренним восторгом)* Святая Мадонна! Вы поглядите на эту виноградную гроздь – солнце светится в ней, словно белое тосканское вино в утренних лучах! А света на холсте столько, что душа очищается и в нее сама собой приходит радость! Словно бы вдруг дышится свободно этим светом, во всю грудь!**

***Враждебность и страх ее полностью исчезают, она начинает поглядывать на Караваджо с небывалым интересом и как-то непроизвольно принимается вертеть бедрами.***

**Третий посетитель. (*беря в руки другой холст и вскрикивая)* – Вот точно такая же гадалка буквально на днях закрутила меня на Пьяцца делла Ротонда и представьте – почти срезала с пояса кошелек, я лишь в последний момент умудрился заметить! А этого молодого человека я тоже кажется где-то недавно видел! И поглядите – какой жизнью дышит фон цвета дорогой оленьей кожи! Здесь нет лучей света или залитой светом комнаты, но кажется, что светом наполнен и дышит сам цвет! Простите за грубую метафору, дорогой синьор, но я простой человек и вправду торгую кожей, как вы догадались!**

**Караваджо. (*с сарказмом ухмыляясь и в сторону*) А милый Марио, которого я зову Сицилиано, в отличие от меня вправду любит шататься по улицам чуть ли не больше, чем писать и учиться. И примелькаться вполне мог!**

**Первый посетитель. (*присоединяясь к хору и с восторженной угодливостью*) А эти шулера, вы только взгляните! О Святая Мадонна – кажется, что они списаны в том трактире, где мы кутили компанией на исходе прошлого воскресенья! Странно, что вы так внимательны к простым людям и сюжетам! Ваши собратья по цеху обычно презирают их и выбирают для полотен совсем другое, словно бы обычная жизнь совсем ничего не стоит и не интересна, не может чему-нибудь научить. И краски под вашими руками вправду дышат жизнью и совершенно необыкновенным светом, словно лучатся им! А как вам это удается? Синьор, вы настоящий мастер! Мы простые люди, но кажется нам, что вы станете одним из тех знаменитых мастеров, которыми Господь благословляет Италию и Рим уже столько лет! Мы будем считать честью, что вы изволили хорошенько испугать нас и отхлестать словами!**

**Второй посетитель. (*с остатком прежней хмурости и недоброты, но сменяя их на искренний интерес*) А отчего же вы – о простите, такова правда, прозябаете и никому не известны? Ведь вам уже не так мало лет, и хоть в живописи я понимаю лишь как обычный римский прихожанин, сдается, что вы можете очень многое и гораздо больше уже могли бы сделать. Кажется, что Дева Мария с Младенцем и Святые Апостолы только и ждут вашей умелой кисти и света, который удается вам небывало! Я не часто встречаю во фресках на стенах церквей такой!**

**Караваджо. (*вновь тускнея и уходя внутрь взглядом*) Я моложе, чем вы думаете, просто знавал тяготы в жизни (*В сторону*) И когда душа и мысли полны не только светом, но в равной мере и мраком, станешь лицом старее собственных лет. (*Кашляет*) Что до простых людей и их жизни – правда, я люблю их писать. И часто вижу в лицах хитрецов, пустом взгляде пьянчужки или выпяченных перед распятием задах прихожан больше истины и тайн божьего мира, нежели в ученых книгах или чем-нибудь другом вообще. (*Понижая голос и более самому себе*) И кажется мне порой, что перенося их на полотна и превращая в сюжеты, я постигаю мир, данный глазам, проникаю кистью и мыслью в самую его суть… (*вновь к недавним обидчикам*) Это то более всего и не любят, не понимают, где угодно! В Риме же я недолго и пишу не так, как принято, а потому вынужден скитаться от мастера к мастеру, нигде не могу прижиться. Там поссорюсь с мастером и швырну на пол краски, а тут – подмастерья, корпящие рядом изо дня в день, изойдут злостью и выживут. И жить часть приходится чуть ли не на улице. И не выходит как следует работать. Но я верю…**

**Хозяйка трактира. (*в этот момент возвращаясь*) А вот и я! Это вино стоит больше брошенного тобой скудо, ты будешь доволен! (*Увидев и оценив происходящее, оторопевает*) Это что такое? Замухрыжка, ты что ль нарисовал всю эту красоту или же где-то раздобыл удачей и продаешь?**

**Первый посетитель. (*видимо шпагой у горла и холстами обращенный в уважение к Караваджо, как язычник в католическую веру, вплоть до восторга*) Перестаньте, хозяюшка! Это чудесные полотна синьора Караваджо. Он художник, настоящий, а не один из тех наглых мазил, которые вечно рыщут по Риму в поисках возможности испортить стену в какой-нибудь из церквей! Вы только взгляните!**

***Хозяйка и вправду отставляет вино в сторону и вместе с остальными начинают восторженно рассматривать.***

**Хозяйка трактира. (*В сторону*) Смотри-ка – не бегущий от «испанского сапожка» знатный синьор, и прежде чем заработает на дом в Риме, немало утечет воды в Тибре, но талант! (*Начинает с еще большим задором и интересом обхаживать Караваджо*) О дорогой синьор, не соблаговолите ли вы свернуть ваши полотна, чтобы я могла поставить вино на стол? (*Когда бутылки поставлены и перегибаясь к нему выступающей из платья грудью*) В дополнение к французскому вину вы получите от меня бедро молодого ягненка, который уже дошел на огне до нужной мягкости. (*После небольшой паузы*) А не желаете ли вы чего-то, еще более аппетитного и мягкого? Для вдохновения? Ну посмотрите, разве же такая красота не вдохновляет?**

**Караваджо. (*пристально вглядевшись в подставленные под нос соблазнительные формы*) Во всех смыслах вдохновляет, конечно. И не меньше ягненка и вина зажигает. Формы чудесны и впрямь. Но на полотнах я пока предпочитаю фрукты или молодого друга, который печалится о текущем времени, а сегодняшним вечером вполне удовлетворюсь вином.**

**Хозяйка трактира. А вообще?**

**Караваджо. А как на счет того, что прекрасная и матовая грудь должна быть прикрыта платком?**

**Хозяйка трактира. (*возмущенно)* Я итак делаю это каждую воскресную мессу!**

**Караваджо. А как же муж, который ныне как раз на эту мессу пошел?**

**Хозяйка трактира. (*отходя к очагу, разочарованно и бурча*) Муж… А что муж… От него давно уже меньше проку в этом деле, чем от бараньих потрохов.**

**Караваджо. Отдайте одну из этих бутылок моим славным сегодняшним соседям. Пусть выпьют за мое здоровье и выучат, что суть вещей бывает обратной от их облика, а истина лежит там, где кажется есть лишь одно святотатство… Я уже давно думаю об этом, касательно многого.**

***Берет бутылку, наливает и пьет залпом, жадно, а после вновь уходит куда-то в себя. Хозяйка берет бутылку и выполняет просьбу Караваджо, а после возвращается к его столу с огромной бараньей ляжкой, которая шипит и дурманит запахом.***

**Хозяйка трактира. (*наклоняясь перед его лицом чуть ли не всей грудью, стремясь отбросить барьеры*) Ну, что ты так печален? Выпей вдосталь хорошего вина, накорми живот и глядишь – жизнь уже не покажется тебе такой дурной. А потом, я с удовольствием подарю тебе главную радость, если захочешь, и тогда вся печаль уже точно уйдет из тебя! Ты ведь знаешь.**

**Караваджо. (*после того, как долго смотрит ей в глаза*) Видишь ли, есть множество причин, по которым в моей душе сегодня торжествует истина мрака, а не света. Я талантлив, но в 23 года мой талант никому не нужен. Его не способны разглядеть и понять. Я напрасно трачу силы и время, которого у нас так мало. А написанное мною не покупают, ибо злословие идет впереди меня и не дает увидеть, как же прекрасны мои пусть даже очень простые пока полотна. И я вынужден спать под деревьями виллы Медичи или на паперти Санта-Мария делла Трастевере, пить вино без закуски и прочее. И надежд поэтому мало. И главное – мне и сегодня негде спать. Но даже несмотря на это, ночлежка для нищих возле Сан-Пьетро или камера узника в Сан-Анжело кажутся мне более достойным местом провести сон, нежели твоя постель с мужем, который вот-вот вернется с мессы Господу.**

**Хозяйка трактира (*разочарованно и оскорбленно*) Ишь ты! Да если хочешь знать, муж никогда даже не был способен оценить то, что ты не желаешь, хоть тебе и предлагают даром*.* (*Вновь возвращается к нему и шепчет*) А может переедешь жить к нам, на верхний этаж? Там тепло, ибо всегда доходят жар и запах от очага с вертелом, а к шуму ты привыкнешь?**

**Караваджо. Тех четырех скудо, которые остались у меня в кошельке, хватит на комнату и стол только на неделю, а когда купят что-нибудь вновь – неизвестно. Я предпочитаю сад Медичи. Лето жаркое, а пробраться туда есть верные лазейки в ограде.**

**Хозяйка трактира. О, святая Мадонна! Ну что поделаешь – придется приютить великий талант, который зазря пропадает, за треть цены! А когда муж будет надолго уходить по делам, я буду иметь возможность послужить этому таланту вся целиком!**

***Караваджо смотрит долго, вглядывается в нее, словно во всю ее душу и суть.***

**Караваджо. Как зовут тебя?**

**Хозяйка трактира. Анна-Мария!**

**Караваджо. Что же, достойная синьора Анна-Мария, верная жена и отличная хозяйка общего с мужем трактира недалеко от палаццо Фарнезе! Если ты предлагаешь мне комнату за треть цены серьезно, я с благодарностью приму твою доброту, ибо хоть лето в Риме жаркое, но ночи холодны и я что-то сильно кашляю в последнее время… (*вправду неожиданно заходится в кашле*)… Долго и тяжело болел не так давно, имел возможность спать под крышей и в тепле, но чуть не отдал душу Господу и всё кажется никак не могу прийти в себя… С возвратом остальных денег потом, если что-то напишу и купят.**

**Хозяйка трактира. (*наклоняясь почти лицом к лицу, с искренностью*) А остальное? Есть хотя бы надежда?**

**Караваджо. (*с в сторону и горечью*) Поглядим…**

**Хозяйка трактира. (*отходя и через некоторое время*) А что, разве у мрака тоже бывает правда, не у одного лишь света?**

**Караваджо. (*после паузы, глядя округлым взглядом куда-то в пустоту*) О, еще как!**

***Рядом за столом идет кутеж, произносятся благодарные славословия художнику Караваджо, но сам Караваджо словно всего этого не слышит, продолжает пить и глядеть в заполнивший душу мрак…***

 **Картина II**

 ***Те же плюс Риччо, то есть Рикардо Франделли, который входит, привычно отворяя дверь ногой.***

**Первый посетитель. *(уважительно и с радостью*). О, дон Риччо, мы ждали Вас!**

**Второй посетитель. (*со сладким почтением и оттенком страха*) Приветствуем «кариссимо синьоре»! (*К проститутке*) Посмотри Чечилия, из какого изысканного материала сшит камзол на доне Риччо! Такой привозят нынче только из Руана или Гренобля, это я тебе как владелец лавки и негоциант говорю! Сразу видно, что дон Риччо не теряет даром даже одного дня жизни, умеет жизнь ценить! И конечно, служит господам Строцци не зря.**

***Сам Риччо во время этого славословия остается холодно выдержанным.***

**Риччо. Ты оставил бы свои речи и лучше вспомнил, что уже больше года должен полтысячи скудо герцогу Строцци за тот воз сафьяна и шелка, который пришел на испанском корабле. А сегодня этот долг становится особенно «красным», ты понимаешь? Герцог буквально вчера или позавчера, когда мы сидели за счетами, сказал, что эту наглость скоро придет время пресечь безо всякой жалости. (*Берет его за камзол и глядя в лицо, негромко*) Ты понимаешь, что это значит? Сегодня это может отправить тебя в подвалы Сан-Анджело с таким приговором судьи, от которого не спастись!**

**Первый посетитель. (*взволнованно и так же негромко*) Да, конечно, дон Риччо, о чем и речь! Но нынче тяжелые времена и неужели же глубокочтимый синьор герцог не может милосердно, во имя страдавшего Господа Иисуса подождать, тем более, что речь идет о такой мизерной сумме!**

**Риччо. Сумма вовсе не мизерная. За год я или другие управляющие герцога могли удвоить ее и она была бы равна трехстам испанским дублонам, то есть стоимости приличной галеры с каторжниками. Это тебе-то нечем возвратить? (*Берет в руки бутылку с французским вином*) Ты погляди-ка! Это вино стоит полскудо за бутылку! По крайней мере, именно столько я платил за него для герцогского стола на прошлой неделе!**

**Первый посетитель. О что вы, дон Риччо! Разве же я мог бы позволить себе такое дорогое вино! Этой бутылкой угостил нас синьор Караваджо, художник, что сидит вон за тем столом и пьет безо всякой меры! Талант! А какая милосердная, по истине христианская душа! Не проткнет горло шпагой в последний момент, так еще и вином угостит!**

**Риччо. (*какое-то время вглядываясь в тонущего в полумраке Караваджо*) Кто – вот этот?! (*С гневом*) Да как ты смеешь мне врать с такой откровенной наглостью! Этот бездомный в протертых штанах мог угостить тебя вином, которое подают на стол Строцци?! Да герцог пришел бы в ярость, если бы узнал и это было правдой! А так – даже не смешно!**

**Третий посетитель. О нет, достойнейший дон Риччо! Это чистая правда. Как и то, что вам, которого уважает весь Рим, нужно быть несколько осторожней или говорить чуть тише, ибо синьор Караваджо силен в шпаге ничуть не менее, нежели в кистях и красках. Витторио уже имел возможность проверить!**

**Проститутка. О да, верьте нам!**

**Риччо. (*еще раз приглядевшись к Караваджо*) – ну да не острее моей. (*Отходя к столу Караваджо*) Ну так ты понял?**

***Первый посетитель безмолвно изъявляет движениями и поклонами понимание. Риччо подходит к столу с хорошо захмелевшим Караваджо, приглядывается, после садится без спроса. Караваджо даже не смотрит на него. Кричит хозяйке трактира***

**Риччо. Анна-Мария, подайте то, что я обычно люблю! (*Со скрытой, но неожиданной и ощутимой симпатией обращается к Караваджо)* Вам кажется что-то томит душу? Я сходу догадался. Со мной такое бывает! Дьявол искушает нас, заставляя испытать боль. Ибо служить процветанию герцога Строцци – дело безусловно достойное, правильное, и душа у меня, доброго христианина, болеть не должна, согласитесь? (*Караваджо пьет и молчит. Продолжает*) И значит, если в нее приходит боль, то она безусловно от Сатаны, который искушает и пытается сбить с пути, и верить ей нельзя! Так это и разъясняют на исповеди монсеньоры священники. И тогда я обычно прихожу сюда или в подобное место, где можно найти компанию и красивые бедра, и пью дорогое вино. Я зарабатываю вдосталь, чтобы его пить, моя жизнь проходит не зря. (*с ухмылкой и оттенком издевки*) Впрочем, как мне тут рассказали, у вас на него денег тоже достаточно?**

**Караваджо. Случаем. Папский легат купил у меня одну из картин… за гроши (*с гневом бьет кулаком по столу, но быстро успокаивается*) А так я бездомный и почти нищий художник. Просто сегодня у меня очень болит душа, а я в этих случаях скупиться не привык, хоть родом и из Ломбардии.**

**Риччо. (*с издевкой и сарказмом)* Отчего же у вас болит душа? Вы же служите музам! Да не уж то такая чепуха, как голод или холод может огорчить человека, который выбрал принести этому в жертву жизнь! Э, да вас кажется тоже совращает Вельзевул! (*зло смеется*)**

**Караваджо. (*в это время со злостью отрывая зубами кусок от бараньей ноги и немного прожевав*) У меня болит душа, потому что я художник, а вынужден сидеть за одним столом с вами.**

**Риччо. (*еще более зло и от души смеясь, пристально вглядываясь в Караваджо*) У вас не получится меня задеть. Я слишком в хорошем настроении сегодня. Да, мне сказали, что вы умеете обращаться со шпагой. Но вы уже слишком пьяны, чтобы крепко удержать ее в руках, а я не собираюсь вас до этого доводить, хотя в ином случае отвел бы душу, позабавился… Вот посмотрите, я кажется моложе вас… впрочем, возможно, просто ночи под чудной римской луной состарили вас лицом прежде срока. На вас некогда хорошие, но ставшие тряпкой панталоны, а на мне – сафьяновый камзол ценой в сотню скудо. Над вами поэтому издали смеются, а мой вид невольно вызывает почтение у любого. Вы пьете французское вино раз в три года, я же – когда пожелаю. Меня боится целый Рим. Тысячи вот таких же «маскальцоне», как этот торговец тканью из окрестностей пьяццо дель Попполо. Те, кто лишь слышали, а в лицо не знают, боятся даже больше. И великий герцог Строцци ценит меня гораздо больше других. Меня уважают, ибо боятся даже звука моего голоса, а вам, чтобы заставить этих свиней уважать себя, понадобилось, как я понимаю, вынуть вашу оригинальную шпагу из ножен. Значит – я живу без сомнения правильно, а вы нет. Вы художник? Я даже не буду просить вас показать мне ваши холсты. Это не интересно, будь вы хоть сам Рафаэль или Микеланджело.**

**Караваджо. *(поднимая глаза)* Меня зовут Микеланджело Меризи де Караваджо.**

**Риччо. Да что Вы! Приятно. А мое имя Рикардо Франделли. Весь Рим знает, кто я. Если захотите узнать и вы – просто назовите мое имя и спросите.**

**Караваджо. Мне нет до этого никакого дела. Плевать я хотел.**

**Риччо. (*заливисто смеясь*) Вы не заденете меня! А кому вы известны? Никому. Быть может – потому что бездарны. А может просто нет везения. Но даже если бы вы имели право быть знаменитым – чего стоит выбранный вами путь? Возможно, вы просто не умеете в жизни делать ничего, более достойного и полезного, что могли бы оценить важные люди. А может – просто не хотите или трусливы… Впрочем, то и другое в отношении к вам кажется неверно: вы скорее всего талантливы, ибо заставили этих наглецов восхищаться вами ровно так же, как и бояться. Однако, путь вы в жизни выбрали точно не тот. Он уже заставляет вас страдать и наверняка вскорости приведет к краху. Да взгляните на даже добившихся признания, которым вы наверняка завидуете в душе! Что у них есть? Что они могут? Вечные рабы чьей-то милости, заляпанные в красках, сгорбленные и иссохшие раньше времени. И значит (*заканчивает весело*) прав я, а не вы. И исповедуйся мы оба сегодня монсеньеру кардиналу Сантинелли, духовнику герцога Строцци, и он подумал бы точно так же! В результате – вы пишите холсты, голодаете и спите на паперти, вызываете издевки и смех разных мерзавцев, а я, если нужно, заставлю этих мерзавцев мыть себе дорогим вином сапоги. И значит – мою душу болью наполняет Сатана, а ваша страдает по справедливости, пытаясь научить вас уму.**

**Караваджо. (*свирепо и с красными от гнева и вина глазами*) Подите к черту!**

***Хозяйка в этот момент приносит блюдо с разными яствами и две бутылки вина, но слыша слова Караваджо, останавливается в нерешительности. Риччо показывает «ставь спокойно».***

**Риччо. Слушайте. Вы мне чем-то симпатичны. Сам не знаю почему, ей-богу! Смесь страха и уважения в душах этих «маскальцоне» расположила меня к вам, или же ваша привычка грустить и топить боль в вине, знакомая мне хорошо, но такова правда. Вся ваша жизнь говорит о том, что вы не правы, ибо должен человек не нищенствовать и мучиться, а богатством, успехом и страхом вызывать зависть и уважение у других. Да если даже вы завтра станете известным, настоящего богатства не достигните никогда, всё равно будете зависеть от подачек и чьей-то милости, а для тех, кто их вам швыряет, останетесь только ремесленником и существом низшего рода. А вот я, не без гордости скажу вам, иногда чувствую, что господин герцог необычайно ценит мои услуги и нуждается во мне быть может даже более, нежели я в нем. (*Внезапно с искренностью обращается к нему*) Слушайте! Бросьте все ваши глупости и идите служить к нам, в дом Строцци. Ко мне. Сейчас вы мучаетесь пустым желудком и дрожью в теле, если ночь отчего-то холодна. А уже завтра у вас будет теплая комната в нижних этажах герцогского дворца, набитый живот и дорогое вино, не издевки шлюх, но их страх и любовь! Уже завтра. И это будет только началом! В самом деле – бросьте глупости. Вы страдаете зря, вполне имея возможность жить иначе. Вам придется держать в руках шпагу, а не кисть, но это вы умеете. А мне нужны верные люди. И то, что ныне мучит вас, завтра уйдет и будет вызывать у вас усмешку. Ну, так как?**

**Караваджо. *(откинувшись во время тирады к стенке и с закрытыми глазами*) Ах же ты бедолага… Слепец, который верит, что познал истину… (*после паузы*) О, если бы ты знал, какое это счастье суметь передать на холсте свет и горькую мудрость луны, под которой мерз ночью… Залить ее светом холст, словно мир… Мне нечего сказать тебе, только знай – однажды боль в твоей душе не сможет ни успокоить, ни залить уже ничего… Хозяйка! (*кричит*) О достойная Анна-Мария жена своего мужа с добрым сердцем… Отведи меня в комнату наверх, ибо я слишком много выпил, чтобы самому и не свалившись доползти до приюта твоей бескорыстной доброты, но не хочу мешать дурной компанией этому синьору насладиться отличным барашком и вином. (*Берет сумку с холстами и шпагу, опираясь на нее и внезапно с трезвой серьезностью и твердостью в языке*) Мне жаль тебя, ибо время уже начало отсчет к твоему краху. А когда наступит крах… О, я не хотел бы в тот момент быть рядом! (*Вместе с хозяйкой, которая вполголоса отчитывает его за опасную наглость, уходит*)**

**Риччо. (*заливисто смеясь в след и наливая вино*) Глупец, не желающий признавать истину очевидного. Я много видел таких и сомневаться в выбранном пути у меня нет причин. Эй, Вельзевул, отродье предвечной бездны, иди-ка сюда! (*Наливает полный кубок вина*) Давай, сшибись с человеком, который живет по заповедям Святой Церкви, даже когда совершает зло… (*выпивает и продолжает*) Ибо Святая Церковь – плоть от плоти душа мира, а мир полон зла и требует его в ответ… Глупец!.. Эй вы, там! Трусливые и чем-то мнящие себя холуи, садитесь ко мне поближе, за мой теперь стол, ешьте и пейте со мной вдоволь, герцог Строцци платит за это! И не обижайтесь на грубые слова – я говорю вам их с любовью и уважением, ибо на вас стоит мир!**

 ***Его слова слышат и кутеж пускается вовсю.***

 **Картина III**

***Вилла Мадама, резиденция кардинала Франческо дель Монте, недалеко от Ватикана. В большой и светлой зале столпились несколько известных римских художников, которые должны представить кардиналу и собравшимся новые полотна. Среди них Президент недавно созданной Академии Святого Луки Федерико Цукарро, известные художники Галло и Д‘Арпино, Грамматико и Джентилески. Сами полотна поставлены тут же и пока накрыты холстами.***

**Мантелотти, секретарь кардинала дель Монте. (*входя*) Досточтимые синьоры! Его высокопреосвященство монсиньор кардинал несколько задерживается с документами, которые должны получить его подпись, просил простить его и не стесняться пока в угощениях.**

***Художники и собравшиеся отвешивают поклоны и следуют словам Мантелотти.***

**Галло. Синьоры, что не говорите, но сам Господь благословляет путь и дела его высокопреосвященства! Испокон веков Святая Церковь и великие мира сего старались покровительствовать искусству, которое возвышает людские души и приближает их к Господу. И монсиньор кардинал кажется решил не уступить великим меценатам прошлого, собирая вокруг себя в Риме не одни лишь признанные таланты, но и людей, в которых печать Господня пока только проступает, по большей части надеждой. И видит бог, если такой надежде дано сбыться, то лишь благодаря этому.**

**Д’Арпино. Вы правы Галло. Не только Господь, но любой, имеющий ум и глаза знает, что труд наш жертвенен и забирает целиком силы не одного лишь тела, но еще более – ума и служащей Господу души. И жертву Господу мы приносим именно трудом и рвением, а не только очищающей людские души силой благочестивых сюжетов, которые создаем кистью. Один из моих подмастерьев, хоть и весьма нестерпимый тип, которого я даже не могу назвать учеником, ибо у меня он ничему не научился и учиться не желал, да и вообще, сдавалось мне, учиться не способен, умел, однако же, сказать иногда со смыслом. Из его уст я однажды услышал – сила любви творит в нас и ею мы возносим хвалу Господу, оказываясь способными целиком отдать себя труду и дарованному таланту. Слова красивые и кажутся мне верными. Жаль только, что произнесены из недостойных уст и тем, к кому, похоже, имеют отношение стороннее. Быть может он просто вычитал их где-то, но они верны. И вот, если бы не щедрость духа служителей церкви и великих мира сего, просветляющих донаторством их души, этот труд и чудесные плоды его, ставшие гордостью времени и христианских стран, были бы невозможны. Вы знаете мне иногда думается, что душу самого закоснелого из язычников, попади тот во Флоренцию или Рим, должны обратить в веру в Господа величие красоты и жертвенного труда, который из века в век созидал ее…**

**Галло. Правы конечно и вы, кабальере, но я кажется знаю, кого вы имеете в виду и прошу вас – не упоминайте об этом человеке, не омрачайте прекрасные мгновения. Мои подмастерья до сих пор свирипеют и начинают исходить злобой, стоит только случаю напомнить о нем. Ведь до вас он какое-то время работал и в моей мастерской. И лишь удача спасла его однажды от перелома костей.**

**Джентилески. Кто спорил бы с вами, Д’Арпино! Труд наш высок и жертвенен. И был бы невозможен, окажись люди нашего рода занятий обречены отдавать силы еще и заботам о хлебе насущном, которые, дай только им волю, поглотят жизнь и человека целиком. У мира «дольнего» и «горнего» разные правды, не это ли учим мы с юности у Святой Церкви? И не освободи от тягот мира того, в ком печать Господня читается не одним лишь даром кисти или чего-то подобного, но еще и талантом учения и труда – всё это безвозвратно погибнет. Однако, о ком же вы говорили только что?**

**Галло. О, прошу вас достойнейший, не будем! Скажу лишь, что в изобилии даруемое талантам на облегчение их нужд и преданный труд, призванный раскрыть их возможности, требует именно труда и способности учиться, склонить голову и впитывать науку, которую более опытный, признанный и уже доказавший себя наставник милостиво дарит, открывая путь и надежду. Уметь принять несомненную истину, даже если не способен пока понять ее. А человек, которого упомянул кабальере, с его необузданной натурой впитавший кажется более от Искусителя, нежели от Господа, этим главным умением, нравственным и воспитываемым церковью и молитвами, не обладал. И оставим, прошу.**

**Грамматико. (*на ухо Джентилески*) Я потом скажу вам, мы оба знаем этого человека. Вправду, не стоит – эти двое узнали его быть может именно с лучшей стороны, а потому каждый на свой манер затаил искренню обиду и гнев.**

**Цуккаро. Досточтимые синьоры, члены Академии! Оставим сторонние вещи и восславим его высокопреосвященство, покровительствующего искусству от души! И сделаем это именно в его отсутствие, ибо множество раз я убеждался, что откровенная лесть претит его достойной душе! Виват! (*остальные отзываются*).**

 **Д’Арпино. *(чуть более интимно Цукарро)* Вы, синьор Президент, однако же признаете, что желая покровительствовать искусству и ищущим умам, его высокопреосвященство подчас не слишком осторожен и привлекает в общий круг людей непредсказуемых и с той или иной стороны излишне норовливых. Взять хотя бы философа Кампанеллу. Я не удивлюсь, если он однажды кончит так же, как ныне томящийся в Сан-Анджело еретик Бруно. Я иногда что-то такое чувствую в его идеях, умело замаскированное, но тем не менее. (*уже совсем шепотом*) Монсиньор кардинал так увлечен рисковать, давая шанс чему-то новому и не вполне укладывающемуся в принятые рамки, что сдается – не наложи Святой престол в свое время на этого Бруно отречения, нам довелось бы однажды увидеть его и тут.**

**Цукарро. (*благодушно*) Не слишком ли вы переперчили вашу тираду, кабальере? Его высокопреосвященство строго блюдет правила сана, а любовь к оригинальным людям… подобное простительно добродетельной душе… К тому же не забывайте, что на Венецианскую республику, в отличии от Тосканы или Умбрии, власть Святого Престола вовсе не распространяется и оттого понятно, что кардинал-венецианец невольно желает собирать вокруг себя тех, на кого Папа посмотрит косо.**

 ***Входят кардинал дель Монте с секретарем Мантелотти.***

**Кардинал. (*поверх немедленно полившихся почтительных славословий и поклонов*) Синьоры, у меня нет сомнений в вашей привязанности ко мне. Оставим ее положенные проявления и перейдем немедля к главному (*художникам*) Досточтимые синьоры! Зерно нашей сегодняшней встречи, приготовленные вами для публики полотна, будоражат мне душу и ум еще с утра. Так не томите же!**

***Первым открывает свое полотно подающей восхищенные возглазы публике президент академии Цукарро.***

**Кардинал. Синьор Федерико, вашим «Успением Богоматери» вы потрясли всех здесь присутствующих так же, как почти тридцать лет назад «Положением во гроб». Как и тогда, просветленную трагедию успения Святой Девы дано ощутит до глубины души, ибо натура совершенно воссоздана вашей кистью, а изысканность стиля лишь подчеркивает, что речь идет о мире «горнем». Великий Тициан был бы потрясен, даруй ему Господь возможность увидеть это полотно. Однако, отчего же вы таились и лишь сегодня нам, потрясенным, дано узнать, что уже долгое время вы трудились над ним?**

**Цуккаро. (*весьма довольный*) Монсиньор, я желал преподнести его в подарок вам в честь годовщины создания Академии.**

**Кардинал. Дар по истине бесценный. Искусство времени словно бы дышит в нем самой своей сутью.**

***Галло подводит к его полотну. Раздаются конечно же хвалебные и восхищенные возгласы*.**

**Кардинал. Уверен, достойный синьор Лоренцо, что это полотно найдет умеющие оценить его глаза. Вы верны благороднейшим традициям, дух легендарных эпох в нем не может не восхитить.**

**Грамматико. (*на ухо Джентилески*) Либо же породить чувство оскомины, ибо всё очень уж узнаваемо, словно бы мысль застыла, а потребности искать новые пути прикоснуться к красоте нет и быть не может.**

 ***Д’Арпино сбрасывает покров с его полотна.***

**Цукарро. Ваше «Изгнание из Рая» чудесно и целиком в русле тех идей, которыми мы живем. Возвышенное благородство старой манеры сроднено здесь с глубоким ощущением натуры и придает образам прародителей и сюжету не «угловатость», как скажут некоторые, а поучительную обобщенность.**

**Д’Арпино. Благодарю вас, синьор Президент. Великие мастера минувшей эпохи, у которых мы склонив голову учимся, стремились столь же глубоко понимать натуру и быть ей верными, сколь претворять ее, словно бы очищая ее от присущей ей грубости и превращая ее так в достойный язык для божественных истин. Особенно учит этому великий Леонардо. Упоение натурой, какова она, встречалось у них редко. А внимания к повседневной пошлости, ныне совращающего умы под влиянием северных художников, они слава богу вовсе не знали, ибо цель искусства понимали хорошо.**

**Галло. (*на ухо Д’Арпино*) Всё это верно, дражайший коллега, но с каких пор вы стали учиться у собственных подмастерий?**

**Д’Арпино. (*оскорбленно и недоумевая*) О чем это вы?..**

**Галло. А свет? Кого вы хотите обмануть, я ведь видел некоторые его холсты, которые он писал в тайне ото всех и помимо основных занятий. Быть может не желая, но вы подхватили у него это. Однако, сдается мне, лучше бы вы подхватили у него римскую лихорадку – меньше было бы вреда.**

**Д’Арпино. (*начиная заводиться*) Позвольте…**

**Джентилески. *(видя назревающую ссору и желая предотвратить ее*) Синьоры, прошу вас сюда, оценить скромный плод моих усилий! Полотно «Давид, побеждающий Голиафа» невелико и я рассчитываю превратить его однажды в более совершенное. Это лишь проба каких-то новых мыслей…**

***Собравшиеся окружают полотно и некоторое время молчат, ибо есть в нем вправду нечто необычное, над чем тянет задуматься…***

**Кардинал. Вы знаете, Джентилески, вы меня удивили. Оно по своему великолепно.**

**Галло. Гран Дио! Д’Арпино, вы только взгляните – это правда или мне кажется? О нет, это точно под его влиянием! Джентилески, сознавайтесь – вы знакомы с этим человеком и уже успели научиться у него дурновкусице и замашкам!**

**Джентилески. (*глядя пристально и с сарказмом, но примирительно*) О чем это вы, Галло? И что же дурного вы увидели в картине?**

**Галло. (*сдавая назад, но по прежнему кипя возмущением*) Я не сказал, что она дурна. Но зачем вы оскорбили палитру и традиции великих флорентийцев этим слепящим и назойливым светом? Где благородство и возвышенная загадка мрака? Где мудрая и взвешенная глухота тонов, означающая пристойность вкуса? Свет в вашем полотне криклив и раздражает, словно вопли торговцев на Кампо-дель-Фьоре, писать которых тот человек так же очень любит. Ведь признайтесь, что вы, член Академии, призванной хранить благородство вкусов мастеров и публики, подхватили это именно у него!**

**Джентилески. (*задумчиво*) Возможно… Однако я…**

**Кардинал. (*мягко, но ощутимо возвышая при этом голос*) Синьоры, остановитесь. Цукарро, вы кажется тоже несколько удивлены и скажете свое слово Президента Академии чуть позже, от себя же могу произнести, со всей искренностью, что полотно достойнейшего Джентилески нравится мне именно необычным светом, который сочетается с пристрастиями мастеров начала века, взять хотя бы моего земляка, великого дель Сарте, впитавшего вкусы флорентийцев. Однако, о ком вы здесь говорите?**

**Галло. (*продолжая кипеть возмущением*) О, монсиньор кардинал! Имя этого человека не достойно ваших ушей, поверьте!**

**Кардинал. (*чуть более настойчиво и с тонами властности*) И всё же?**

**Галло. (*словно исходя возмущением и гневом*) Ближе к концу минувшего года в моей мастерской появился молодой, но уже не слишком приезжий. Я принял его, искренне желая дать ему науку, которую кропотливо и долгие годы, опираясь на мудрость великих постигал сам. И что же?! Вы думаете, я познал в ответ не то что благодарность, а хотя бы готовность внимать?! Раз от разу дерзкий наглец принимался спорить, задавать непристойные вопросы, из которых выходило, что писать можно и даже должно не так! Другими словами, придя учиться ко мне в мастерскую, он вел себя так, будто уже постиг всю мудрость и тайну мастерства, которую мы осваивали годами, и собирается поучить ей меня! Однажды мои благородные душой ученики, не стерпев такого унижения учителя, кое-что всё же давшего им, чуть не отдубасили его до полусмерти и спасся он лишь потому, что осмелился вынуть из ножен огромную, времен великого Лоренцо Медичи шпагу, которую вечно таскает с собой, и принялся всем ею угрожать!**

**Д’Арпино. Говоря по чести, ваше высокопреосвященство, постаравшись быть словно на исповеди откровенным, этот молодой художник талантлив, а дарованная ему Господом кисть умела. Однако, вкусы его, как его нрав и натура, совершенно испорчены кем-то и необузданны, быть может – не воспитаны правильно. И скорее всего именно по причине его необузданности… скандального нрава, который более похож на привычки и страсти корсара или римского бретера, нежели на покорную и служающую Господу трудом душу художника… Он талантлив, но придерживается каких-то диковатых и вульгарных взглядов, его ум человека, который мог бы стать хорошим художником, уже сложился в собственных представлениях, так пока и не воплощенных, ибо он беден, а из мест, где его дают приют и желают научить чему-то, он всякий раз уходит со скандалом. И потому – его ум и талант испорчены, скорее всего даже погублены, ибо сложились конечно же неверно.**

**Грамматико. (*на ухо Джентилески*) Смотри-ка – он искренен, как прежде был искренен Галло. И как искренне они пытались научить Караваджо устаревшим вкусам, почитая те за должные вечно сохраняться!**

**Галло. Д’Арпино, при всем уважении к вам, я не согласен. Нет никакого таланта и художника! Подмастерья – и того нет, ибо подмастерье должен слушать мастера и говорить «грацио», а не пытаться в безумной наглости кого-то учить!**

**Д’Арпино. Нет, вы не вполне правы… Талант конечно есть, быть может значительный. Однако, достался он кажется совсем не тому – в господню насмешку или чтобы понапрасну пропасть. Кисть его умела, несмотря на возраст, а глаз остер и схватывает вещи. Только вот учиться писать правильно он не желает и ставит дарованное богом на службу таким странным фантазиям, что не знаешь, что и думать. Я поручил ему дописывать фрески моей руки. А что? Я сам во времена оные занимался подобным чуть ли не три года! И что же – он в раздражении взял покунок и ушел через каких-то полтора месяца, бросив мне на прощанье вместо благодарности, что состарится на этой чепухе раньше, чем успеет написать хоть что-нибудь стоящее.**

**Галло. (*вторит с гневом*) Да кто он таков?! Нет, вы только вдумайтесь синьоры! Я поручил ему делать копии со старых фресок – кропотливый труд, который требует ума, умения и отдачи, а ему вишь ли это пришлось не по нраву и он сбегал на Тибр, рисовать выгнутые зады и почерневшие от грубой жизни лица грузчиков на фелуках! Да еще умудрился увести от меня и совратить с истинного пути одного весьма достойного и перспективного юношу, который вместе с ним ныне бедствует и скитается, губит себя зазря, обольщенный глупостью!**

**Кардинал. (*с искренним интересом и усмешкой*) смотри-ка, как разошлись и взъерошились!**

 **Д’Арпино. Вы правы, учиться он не хочет, более норовит учить.**

**Галло. Да по какому праву?! Кто он такой, этот нищий и бездомный бретер и выпивоха?! Его нет вообще! Что он написал, чтобы сметь даже слушать с недостаточным почтением? Какие-то зарисовки вульгарной жизни, словно ниспровергающие искания великих мастеров?!**

**Д’Арпино. Правы вы и в этом. Школа учит нас претворять натуру, словно освобождая ее от частностей и житейской грязи, иначе к высокому ее языком не прикоснуться. И даже любящие натуру, какова она, северные художники, тем не менее этого принципа придерживаются. Этот же человек упивается тем, что иначе как грязь и пошлость не назовешь. И кто научил его этому, что его к этому привело – не понятно. Он и вправду упивается грубыми лицами и грязными пятками, словно есть в этом какой-то смысл и этому призвано служить высокое искусство живописи, это должно писать. Ну, предположим. А как же быть с сюжетами Библии и Святого Евангелия? Где найдет он в таком подходе язык и средства, чтобы их воплощать, да еще следуя тем значениям, которые придает им веками Святая Церковь? Это тупик. Он не желает и по строптивости и испорченности его необузданного нрава не может учиться. И потому погубит себя, пусть даже имеет дар от Господа. И потому вы правы и в том, Галло, что слишком много внимания мы уделяем его персоне.**

**Джентилески. (*на ухо Грамматико*) Они правы при полной их неправоте. Микеле и вправду написал мало. Однако даже в малом обещает превзойти их, если еще этого по сути не сделал. И уже дает кое-чему у него научиться. А значит талант его огромен… что же до судьбы… тут поди знай… И многое зависит в том числе и от монсиньора.**

**Кардинал. А где же можно найти этого строптивца?**

**Галло. О ваше высокопреосвященство, не стоит вам ей-богу утомлять себя этим!**

 **Кардинал. (*настойчиво и с властностью*) И всё же?**

 **Галло. Да хоть на рынке Кампо-дель-Фьоре или в одной из ночлежек для нищих. А может, у какой-нибудь паперти или под деревьями в саду монсиньора Боргезе или герцога Медичи! А вернее всего – в темнице или же там, где случился какой-нибудь очередной громкий скандал. Они от него неотделимы!**

**Кардинал. Так он скитается и бедствует вместо того, чтобы учиться и работать?**

**Галло. (*кричит с возмущением*) А кто виноват в этом, кроме него самого? Благороднейшие сердцами художники Рима хотели научить его, помочь ему раскрыть дарованный Господом дар, давали кров, стол и науку! И что же? Во власти заблуждений он отверг порывы их душ! И страдает ныне по справедливости.**

**Д’Арпино. Это правда, монсиньор. Речь идет о человеке очень тяжелой сути, которому художником не стать. После ссоры со мной он, я слышал, живет бездомно, пишет где попало и черти что, разменивает на грязь и чепуху умение рук. Ему и правда раскрывали объятия, давая пройти тот же путь, который проходили все и должен осилить каждый. А он вправду отверг.**

**Джентилески. (*на ухо Грамматико*) Возможно, что путь Караваджо именно в том, чтобы идти и учиться самому, следуя горизонтам, которые рисует его не по годам зрелый ум – человека и живописца. А работать он умеет и хочет – вы знаете. Здесь они во власти обиды лгут и думают неверно. И надо просто ему помочь.**

**Грамматико. (*в ответ*) Огромный дар, что и говорить! И думалось мне не раз, что вправду дурной и скандальный его нрав сложился за жизнь от его сильной и свободной натуры. Лишь так ему удается отстаивать себя. А монсиньор кажется клюнул.**

**Кардинал. Никто из вас, достойные синьоры, не назвал до сих пор имя этого человека.**

**Цукарро. Мне оно неизвестно.**

**Кардинал. Оно и понятно, дорогой Президент. С ваших высот вы оберегает горизонты искусства эпохи, а потому различать и знать подобное не обязаны.**

**Цукарро. (*с поклоном*) Я и впрямь в меру доступного и с поддержкой коллег берегу их. И нельзя иначе, поверьте. Если дать свободу лошадям в упряжи герцогской кареты, она непременно сорвется в пропасть. И если позволить колебать вековые вкусы, представление об истине и красоте, ждет не меньшая катастрофа. Или просто – поди знай, что за недозволенное безобразие завладеет умами и душами. Школу должно хранить и она означает не только флорентийский или венецианский мазок или что-то подобное. Прежде всего – взгляды на цель, ответ на вопрос «как» и «во имя чего».**

**Кардинал. Достойнейшие и глубокие мысли, которые мы непременно обсудим с вами, синьор Президент в иной раз, с интересом и запалом. А сейчас о другом. Итак, синьоры!**

**Д’Арпино. (*нехотя*) Зовут этого человека, сколь не изменяет мне память, Микеланджело Меризи.**

**Галло. (*точно так же нехотя присоединяясь*) А проще вам будет разыскать его по имени Караваджо – именно так его называют в Риме, уж и не помню, отчего. Где же сделать это, ваше преосвященство, мы и вправду не знаем. Строптивый нрав и глупость обрекли этого человека на незавидную долю.**

**Кардинал. С полотном Грамматико мы разберемся чуть позже, а сейчас синьоры, прошу – угощайтесь и позвольте мне на мгновение уединиться с секретарем (*обращается вполголоса к Мантелотти, который всё это время был рядом*) Уж я не знаю как там и что, но давненько я не ощущал такого интереса! Наши без сомнения достойные живописцы, словно коршуны рвут этого человека на части, хоть его здесь даже и нет. И это обещает немало, или же напрасно я прожил на свете четыре десятка лет! Как бы там ни было, поручаю вам немедля разузнать о судьбе этого человека и найти его. И целиком на вас полагаюсь – вы служите мне не первый год.**

**Джентилески. (*на ухо Грамматико*) Вы могли предположить такой исход, когда шли сюда сегодня?**

**Грамматико. Я вообще о чем-то подобном думал?**

 **Картина IV**

***Ночь, забор сада Медичи возле места, где Караваджо привык пробираться внутрь. Караваджо с одной стороны площадки, а с другой девочка быть может тринадцати лет, которая просит у редких прохожих милостныю или пытается продать им нарванные где-то цветы. При нем лишь котомка и шпага.***

**Караваджо. (*самому себе*) Чертова суть! Уже три недели живу в тепле и весь пропах жарящимся в очаге мясом, но хоть продолжаю кашлять, тянет по прежнему на волю, в привычное место… Под ясени и сосны у Медичи… Вдохнуть мир… Ощутить и понять его мудрость, оставшись с ним под покровом ночи лицом к лицу… Что-то уловить в полной бесконечной тайны и мудрости натуре… из содрогающей подчас истины, которую приоткрывает самая обычная, привычная взгляду жизнь… Как чуден и пахуч ночной воздух на исходе римского лета… А сколько боли и тайн, странных и трагических парадоксов пронизывает божий мир… Божий… Надо бы выпить взятого у Анны-Марии в долг вина… Как корят меня за пьянство и буйный нрав, с юности… (*открывает бутылку и прислонившись к заросшей плющом и вереском ограде пьет*) Еще бы! Мастера холстов привыкли видеть бедным, прежде времени старым, трусливым и вымазанным в красках… живущим размеренно, ибо иначе труда не одолеть. Редко, когда встретится подобный мне, похожий на сутенера или бретера «распутник»… Да таких и нет, я единственный! (*смеется с горечью*) Великий Микеланджело становился сушеной грушей возле его скульптур и фресок, но дожил до старости. А Тициан и Гаронфалло вообще протянули до возраста библейских старцев, причем второй был пол жизни подслеповат… Все они трудились, написали сотни холстов, не знали ни покоя, ни власти страстей… А я проживу, сдается мне в минуты кашля мало, хочу сгорать в работе, но возможности не имею, зато зовусь «бретер» и «распутник»!.. И не случайно, ибо вправду люблю выпить и обнажить шпагу... Во мраке есть истина, не только в свете… Душа полна света и любви, а мир – лжи и зла… Что-то внутри жаждет свободы и правды, а жизнь словно сковывает душу и ум кандалами… И вот, когда мрак мира и жизни становится всевластным, заползает в душу до глубин, она вопит от отчаяния и боли и требует вина, сколь можно больше вина! (*вновь делает хороший глоток*) Вот и выходит, что во мраке, который подчас наползает в душе, становится болью и просит вина, таится правда поруганного миром света, сдавленной в тисках лжи и зла любви… Это настолько истина, что даже глупая и развратная курица Анна-Мария различила ее в моих словах… Крупицы растоптанного света в душе, должного литься потоком, кричат болью, а это зовут «распутством»! (*смеется*) А когда Господь в душе и достоинство заставят вынуть шпагу и даже убить злодея, «распутником» и «злодеем» зовут тебя и приходится бежать, чтобы вновь не очутиться в темнице… (*задумывается*) И боль поруганного света подчас сильна так же, как мрак топящих ее страстей… (*смотрит впереди себя, словно вглядываясь во мрак римской ночи или пустоту*) А что делать с тем мраком, который с юности разворачивается в мыслях, заставляет дрожать и говорит, что после последнего мгновения на земле не будет ничего… лишь то быть может, что ты создашь дарованным талантом, трудом и собственными руками, силой любви, оставив после себя, но сам сгинув… Правда ли этот мрак или есть происки Сатаны?.. Узнать об этом дано, лишь свой последний миг встретив… Однако, тот мрак боли и страха, который вместе с ним приходит в душу, можно либо утопить в вине, либо победить силой любви и надежды, которую дарят возможность писать и труд, словно разрывающее грудь желание работать и сделать бесконечно многое… так и не получившее пока от судьбы почвы или же подобно реке – русла… Теплого и надежного дома, в котором было бы вдоволь пространства и света. Времени писать, работать, думать… умом и кистью постигать тайны мира, собственного таланта и тех великих мастеров, которые и вправду заслуживают уважения… А главное – права искать и обрести свой путь, не быть вынужденным ради грошей, более-менее сносного жилища и возможности стоять у холстов, выслушивать чьи-то глупые поучения, губить талант в ремесленной работе, не иметь возможности писать, как хочешь, видишь или пока смутно предчувствуешь правильным, искать и пробовать… Дарили мне пособие, кров, покой и теплую постель, всегда набитый чем-нибудь живот, но взамен требовали отказаться от самого главного, себя словно заживо задушить, убить или сковать кандалами, обречь как живописца погибнуть, а не состояться и найти собственную дорогу и самостоятельный метод, возможность не работать, а кажется просто вымазываться красками. Я мог иметь всё это, но из-за цены уже два года вынужден бежать, уходить в унизительные мытарства и нищенство, тоже гибну, ибо могу работать мало и очень житейской грязью мучаюсь, но всё же – меньше, ибо крупицы правды в творчестве и поисках сохраняю… И остается только мрак в душе, который заполз в нее из мира и может быть побежден пока лишь отличным французским вином, а не светом любви и творчества… Тем, который давно живет внутри и бывает – проливается на холсты… Я художник и человек света, хоть наверное именно поэтому знаю с юности бездну и боль самого адского мрака (*поднимает голову, задумчиво глядит несколько мгновений, а девочка в это время пытается продать прохожим цветы или разглядеть в темноте кого-нибудь, для такой цели подходящего*) О свет римской луны!.. Я видал Милан, бегая от закона – Венецию и Флоренцию, похожий на адское пекло, вечно бунтующий и тонущий в крови Неаполь. Такой луны нет более нигде – желтой, словно кожа больного здешней лихорадкой… И свет ее подстать! Льешься ты на вещи удивительно, загадочно… словно ниоткуда или сами вещи светятся тобою посреди торжествующего мрака, вопреки ему обретая лицо и ясные контуры!.. Словно бы свет и мгла – вечно борющиеся в человеке, мире и жизни сути, а не просто свойства природы… Или как загадочный свет самой маленькой человеческой жизни, полной боли, в конце которой поди знай, что ждет – рай… вечность… ад забвения и пустоты?.. А бывает, что похож ты на свет мысли, так желающей постигать данное глазам, прорывать мрак мира, в равной мере объятого множеством загадок, ложью и злом… чтобы потом литься на холст… И всё чаще мне хочется принести тебя в полотна, постичь и воплотить тебя, словно спорящего с мраком и побеждающего его… Словно ты божий свет духа и любви в человеке, который тонет во мраке мира, в непроглядной тьме трусости и лжи, но никогда не гибнет до конца*… (делает паузу, после долго и жадно пьет из бутылки*) О, сколько же истин и тайн, смыслов пронизывают натуру или совершенно обычные глазу картины, лишь умей вникнуть в них умом, который даровал то ли Господь, то ли сам Сатана… Какие страшные и великие истины открывает подчас привычная житейская грязь… А вот хоть бы и эта девчушка… (*еще раз вглядывается в нее сквозь полумрак несколько мгновений*) Хрупка телом, а в лице даже немного красива… Одно – символ ее уже погубленной миром судьбы, а второе – зла, на которое ее вскоре обречет людская грязь, ибо совсем не Мадонну увидят в ней и простоватой красоте ее лица… Ты только начинаешь жить, душа твоя еще полна надежд, а хрупкое молодое тело – сил… Сердце чего-то ждет от жизни, которая невзирая на тяготы, пока еще кажется далью и манит радостями… Однако бедность и зло мира уже приговорили тебя, обреченную скитаться и с трудом вымаливать на хлеб… А дарованная Господом красота лишь послужит им, став костром страстей в людских душах… И еще пару лет – суждено тебе стать шлюхой, изувеченной страстями и грубостью жизни… Сил перебороть судьбу и выстоять перед ее соблазнами у тебя не хватит… она просто не оставит тебе выхода. Облик твой утратит прелесть молодости и лишь обнажит зло, которое кроется за масками и поэзией страстей… И будешь ты обречена довольствоваться до конца дней грязью, почитая ее за саму жизнь, ибо ничего иного не узнаешь и не останется…**

***Караваджо делает еще один очень хороший глоток, почти закончив бутылку с вином, а после погружается в мысли.***

**Девочка. (*радостно бросаясь к двум случайным прохожим*) Синьоры, купите эти чудесные пинии! Точно такие же растут в этом саду и услаждают взгляд герцогов Медичи! Синьоры, ну прошу вас, купите! Совсем недорого – всего лишь три байокко! Сам Господь послал вас в этот поздний час купить мои пинии! (*Почти со слезами*) Для таких почтенных синьоров – не деньги, а несчастной Мирелле это позволит сегодня ночевать возле очага и хоть немного поесть!**

**Первый прохожий. (*с усмешкой*) Она похоже их в этом саду и стащила! (*с нарочитой, но весьма убедительной грозностью, очевидно желая ее напугать*) А ну-ка признавайся – ты воровка, которая смела лазить в герцогский сад?**

**Мирелла. О нет, что вы, синьоры! Я специально ходила за ними на Аппиеву дорогу! Я честно зарабатываю на хлеб! Оттого так редко его и имею.**

**Второй прохожий. (*довольный ее испугом*) Сама, однако же, хоть и не похожа на распустившуюся пинию, но тоже в известном роде цветок! (*смеется и переглядывается со спутником*)**

**Первый прохожий. А что, неужто бедной девушке и вправду негде спать? Ведь должна же у тебя быть семья, которая позаботится о тебе и конечно защитит, если какой-нибудь негодяй, коих в Риме полно, захочет вдруг тебя обидеть? (*переглядывается со Вторым прохожим*)**

**Девочка. (*с доверием и искренно*) О нет, синьор! Я уже больше года сирота. У меня нет ни семьи, ни вообще кого-нибудь на свете. Отца отродясь не было, а мать, которая торговала рыбой на Кампо-дель Фьоре, умерла от лихорадки прошлой весной. Сама же я с тех пор скитаюсь и зарабатываю тем, что помогаю трактирщикам, если выпадет удача, или стою там и тут вместо пожилых торговцев возле их лотков и в лавках, когда те желают отдохнуть. А если нет – собираю пинии и продаю. Я люблю пинии… Они похожи на саму жизнь, не правда ли?**

**Первый прохожий. (*вместе со вторым обступая девочку*) Ах, вот оно как! И вправду тяжелая судьба. (*после паузы*) А скажи-ка… Хотела бы ты заработать быть может не три байокко, но целый скудо или даже два?**

**Девочка. (*недоверчиво*) Да что это вы синьор? Разве бывает так, чтобы даже за целую корзину свежих пиний платили столько? (*с неожиданной надеждой)* Или вы хотите, чтобы я убирала и чистила солью и углем котлы у вас в трактире? О, это было бы счастьем! Такое счастье не выпадало мне уже целый месяц!**

**Второй прохожий. Нет, мы не держим ни трактира, ни лавки… Господь дает нам заработать вдоволь иначе… (*после паузы*) Скажи, а разве тебе никто не разъяснил до сих пор, что у такой молодой и красивой девушки есть совсем иной путь заработать, не голодать и спать под теплой крышей, нежели утомляться чисткой котлов или подобным? Ведь не мне же объяснять тебе, как это тяжело! (*подвигаются еще ближе*)**

**Первый прохожий. (*подхватывая Второго*) Ведь погляди – лицо у тебя по своему прелестно, а в купе с юным возрастом и хрупкими контурами тела, способно вызывать у мужчин любовь! (*проводит ей ладонью по щеке, заставив чуть отскочить*)**

**Девочка. Да что это вы, синьоры, о чем вы?!**

***Караваджо наконец оставляет мысли и обращает внимание на происходящее невдалеке.***

**Второй прохожий. (*всё так же прижимая вместе с Первым девочку к ограде, но стараясь убедить*) Разве же не объяснили тебе, глупая, до сих пор, что любовь мужчин не только дарит радость, но еще способна весьма сносно накормить и обогреть, если только умело пользоваться ею и научиться ее пробуждать. А тебе (*со смешком*) не придется даже особенно стараться для этого! И мы с компаньоном сможем тебе в этом помочь, ибо именно таким благородным трудом зарабатываем на жизнь. (*совсем обступают девочку и прижимают ее к стене и плющу*)**

**Первый прохожий. Нужно только один раз решиться, а дальше судьба сама сделает дело и наладится. И мы похоже, сегодня примем это решение за тебя, ибо ты слишком робка, как поглядеть!**

***Пытаются схватить девочку, чтобы ее увести, та слабо бьется и кричит, после начинает плакать и умолять что бы ее отпустили.***

**Караваджо. (*вскакивая на ноги*) Да, мир живет мраком и погружен в него не только ночью… Но зачем же убеждать меня в этом прямо перед моими глазами! И посмотри-ка – словно наважденье из былого! (*кричит прохожим, с гневом и властно*) Эй, вы там! Оставьте девчушку в покое! Она пока слишком молода, чтобы стать вашей добычей. Дайте ей еще чуть-чуть времени сохранить веру в Господа и жизнь (*с горечью*). Остальное судьба рано или поздно сделает сама.**

**Первый прохожий. (*чуть оторопев и отстранившись от девочки вместе со вторым, но приходя в себя*) Гляди-ка – бездомный нищий будет учить нас здесь святой католической вере! Иди своей дорогой или сиди, где прежде прислонил спину, а нам не мешай обустроить жизнь этой несчастной и облегчить ее муки – у нее другого пути всё равно нет!**

**Второй прохожий. (*пока Первый вновь поворачивается к девочке и начинает с силой убеждать ее в чем-то*) Давай-давай, проваливай отсюда! Тебе желают добра, хоть может ты этого и не заслуживаешь!**

**Караваджо. (*быстрым движением вынимая шпагу*) Так я вижу, ты не понимаешь языка, на котором Папа Климент VII обращается к Пастве в Святое Воскресение Христово! Он у вас в Риме звучит чуть иначе, но тем не менее!**

**Второй прохожий. О черт!**

***Второй порохожий отскакивает и вынимает шпагу в ответ, они с Караваджо начинают обмениваться яростными ударами. Первый прохожий в это время бросает девочку, тоже вынимает шпагу и пытается присоединиться, но удары обоих так быстры и яростны, что у него не выходит. Девочка кричит и молит о помощи, и с разных сторон раздаются крики и голоса.***

**Первый прохожий. (*Второму*) Оставь его и ее, бежим же, черт! Сегодня не вышло! Но это не так плохо, как попасть в Сан-Анджело!**

**Второй прохожий. (*продолжая обмениваться с Караваджо ударами*) Так ведь этот «нокьолино» не отстает, хочет убить меня!**

**Первый прохожий. (*Караваджо*) Эй, «паццо», в другой раз ты бы так просто не отделался, но давай закончим миром и скроемся, ибо ты сам и мы из-за тебя можем попасть в большую беду!**

**Караваджо. (*продолжая наносить яростные удары*) Ты кажется не понимал благородного итальянского языка! За подобное без сомнения надо заплатить кровью, равно как и за попытку превратить на моих глазах девочку тринадцати лет в шлюху!**

***Первый прохожий поднимает огромный камень из под забора с плющем, швыряет что в Караваджо, чем валит его с ног. Девочка продолжает кричать о помощи, но в конце концов, вместе с обоими прохожими, скрывается с корзиной цветов в противоположном от них направлении. На сцене появлется стража с обнаженными шпагами и факелами.***

**Первый стражник. Что тут происходит?**

**Второй стражник. Кто смел тревожить городской покой ночью, да еще чуть ли не под самыми окнами герцога Медичи?**

**Третий стражник. (*подходя к лежащему на земле Караваджо*) Это смутьян или убитый?**

**Четвертый стражник. Пни его хорошенько ногой, сразу поймешь!**

**Караваджо. (*приподнимаясь на локте и кашляя*) Не надо никого пинать. И убитых здесь по счастью сегодня нет.**

**Первый стражник. Вы кто?**

**Четвертый стражник. Это вы только что затеяли здесь крики и драку с кем-то?**

**Второй стражник Да посмотрите, с кем вы спорите! Это просто какой-то бездомный, верно хотевший обокрасть под покровом ночи честных горожан-прохожих!**

**Третий стражник. (*грубо*) Немедля назови себя!**

**Караваджо (*вставая и опираясь на шпагу*) Мое имя Микеланджело Меризи. В Риме, где я живу два года, меня еще зовут Караваджо, ибо я родился в деревеньке возле Милана, которую называют так.**

**Первый стражник. Так как же ты, чужак, смеешь устраивать скандалы посреди улицы и глубокой ночью, это в Святом Папском городе? Разве ты не знаешь, что это строго запрещено, грозит судом Святой инквизиции и заточением?**

**Третий стражник. Чем зарабатываешь на хлеб? Убийца? Вор? Уличный грабитель?**

**Караваджо. Я художник.**

**Четвертый стражник/ (*с издевкой и гневом*) Кто-кто? Да ты что же, шутить с нами вздумал?**

**Караваджо. (*возвышая голос*) Я художник. Учился в Милане у мастера Петерцано, который учился у самого Тициана. В Риме же я работал в мастерской Галло и Д’Арпино, просто не долго.**

**Второй стражник. Да кому ты лжешь! Взгляни на себя!**

**Третий стражник. (*с издевкой и смехом*) А доказать это можешь драными панталонами?**

**Четвертый стражник. Где же ты живешь и что делал так поздно под самым забором у Медичи?**

**Караваджо. Живу я в трактире, недалеко от палаццо Фарнезе. А что делал тут – не важно.**

**Третий стражник. Как бы то ни было, ты совершил преступление и будешь арестован, а утром пусть судья или квестор решают, кто ты таков и какова должна быть твоя участь.**

***Караваджо выпрямляется***

**Четвертый стражник. И не вздумай глупить! Отдай-ка немедля шпагу, ибо если посмеешь поднять руку на городскую римскую стражу, тебя ждет смерть!**

**Караваджо. (*после некоторого раздумья и отдавая шпагу*) Куда отведут меня?**

**Первый стражник. Понятно куда! В Сан-Анджело! (*Принимает шпагу*) Вы поглядите! Такую наверное носили на поясе во времена Франциска Первого! В первый раз вижу бездомного сумасшедшего с рыцарской шпагой!**

**Второй стражник. (*Караваджо*) Давай-ка сюда руки! (*вяжет*) Радуйся, «маскальцоне»! При такой луне ты увидишь купол Святого Петра прежде, чем тюремное подземелье. А кроме того, теперь-то у тебя появится возможность поучиться правилам вежливой жизни в Риме, кои ты доселе так и не освоил (*Стражники смеются*).**

**Караваджо. Я их уже кажется выучил.**

 **Картина V.**

***Подземелье в замке Сан-Анджело). Сырость и почти полный мрак, лишь издалека долетает свет факела. В углу коридора две камеры, у которых в дверях крохотные решетчатые оконца, расположены почти друг к другу. В одной из камер раздается долгий тяжелый кашель.***

**Кашляющий голос. Ах, ты ж черт! Я готов ныне помечтать и пожалеть не о свежем ночном воздухе с запахом пиний на вилле Медичи, а о тепле в каморке над трактиром Анны-Марии и покрывале, что пропахло запахом жаренного мяса кажется до конца дней! (*вновь кашляет*) Что за чертова сырость! А запахом Тибра, тины и разной гнили воздух сперт почти до удушья. Глядишь, я так снова заболею лихорадкой. Что же… Зато вновь вернусь в госпиталь Сан-Иньяццо и полгода о бесплатном жилье и сносной еде можно будет не тревожиться! (*смеется и вновь заходится в кашле*) И даже случится пристойно пописать! Если не отдам концы.**

***В это время из другой камеры доносится шорох, который спустя несколько мгновений заканчивается словами, произнесенными очень внятным, мягким, словно привычным увещевать голосом.***

**Голос. А вы дышите носом. Это помогает согревать воздух перед тем, как он попадает в легкие. И вся сырость и грязь, которые есть в нем, грудь и горло вам не потревожат. Что же до холода, просто свернитесь калачиком, словно ребенок в утробе матери. Я уже целых два года, как привык к этому и только так сплю.**

**Кашляющий голос. (*после шороха и чертыханий, звуча уже в оконце другой камеры*) Это я, раздери вас черти, сумел понять и без ваших советов! Знаете ли – холод не мать родная, делает умным! Да и не раз приходилось мне спать на холоде и под открытым небом и прежде. Я разбудил вас кашлем, верно? Ручаюсь, что вы какой-нибудь насоливший аббату священник, так привычны кажется наставлять истине и путям божьим!**

**Голос. (*со смехом*) Вы правы! Невероятно! Вы догадались с первого слова! Увы, я почитаю себя умным человеком, но так разбираться в людях по голосу или внешнему виду не умею. Я и вправду монах, правда лишенный сана, причем давно. А вы кто, позвольте спросить? Но прежде, чем вы скажете, могу точно подметить – поверх всей грубости очень цепкий умом человек!**

**Кашляющий голос. Я художник.**

**Голос в камере. *(с парадоксальной смесью радостью и печали*) Гран Дио! Должны стоять тюрьмы, если такие люди только в них и могут встретиться! А как ваше имя? Какие церкви в Риме вы успели расписать? Последний раз я ходил по улицам Рима почти двадцать лет назад, но вдруг сумею представить облик города из ваших слов. Ведь возможности памяти всегда были моим коньком!**

**Кашляющий голос. Я не успел расписать ни одной церкви… Вообще – написал пока мало. Судя по вашим словам, я моложе вас почти вдвое. Три больших мастера, у которых я успел поработать в Риме, доверяли мне лишь делать копии с церковных фресок, либо же рисовать в них вензеля из цветков и лепестков! *(усмиряя гнев*) Однако, не думайте – что могу я и хочу, знаю пока лишь я один, но верю, когда-нибудь это узнает множество людей и мое имя будут произносить с трепетом! Те немногие холсты, которые могли бы убедить вас, слава богу не были арестованы вместе со мной. Так что вам придется либо поверить мне на слово, либо счесть меня наглым глупцом, который не способен говорить правду – ни себе, ни другим…**

**Голос. *(с уважением и проникновенно*) О нет! В ваших словах столько силы, искренности и боли, что они рождают доверие и убеждают немедленно! Однако, как же всё-таки зовут вас?**

**Кашляющий голос. Зовусь я уже почти 24 года Микеланджедо Меризи. Отец мой был архитектором, но почти всю жизнь прослужил управляющим герцога Сфорца в деревне Караваджо, ради нужды и хлеба погубив дарованный Господом талант. Способный строить дворцы и соборы, он потратил жизнь на учет лошадей и коров в герцогском стойле, да еще ежегодного урожая винограда и олив. Оттого я с детства впитал две вещи – любовь к искусству и ненависть к власти хлеба и денег. И оттого выбрал пройти через что угодно, но либо заслужить право жить силой любви и сделать в служении истине, красоте и любви то, что чувствую – могу и хочу, либо пропасть, ибо тогда не нужно ничего! И оттого же, хоть лишь дюжина свернутых в каморке холстов может пока вызвать восхищение и показать, на что я способен, мир и судьба губят меня, а дырявые панталоны должны заставить раскаяться, я всё равно иду по этому пути и либо совершу на нем то, что стоит дара жизни и кисти, либо пропаду!.. А потому же – те два года, что я обретаюсь и скитаюсь в Риме, прозвали меня Караваджо… Только берегитесь – это имя может вызвать смех или злость, часто зависть или вообще ядовитую смесь всего этого! Но как зовут вас?**

**Голос. (*задумчиво*) Караваджо… Судьба ждет меня горькая и навряд ли мне когда-то доведется посмотреть на прекрасные холсты, которые вы несомненно в избытке напишите, ведь чистота и свет души, искренне стремление к истине непременно рождают красоту и то, что достойно признания, иначе быть не может… Однако, имя я всё же запомню, конечно… Редко встретишь в этой жизни что-то настоящее, а вы, хоть я даже не вижу вашего лица, кажется именно таковы. Меня же зовут Бруно. Джордано Бруно. Однако, берегитесь и вы, ибо мое имя рождает в людских сердцах куда худшее – страх, ненависть и проклятия…**

**Караваджо. Странно, однако. Я тоже не вижу вашего лица, но отчего-то готов ручаться, что человек вы глубокий, умный и полный в душе добра и света… ваш мягкий и словно наставляющий истине голос говорит об этом!**

**Бруно. Надеюсь, вы правы… Я и вправду лишенный сана монах… Но привычке разъяснять людям знание, которое они боятся и ненавидят, а потому знать не желают, научился за долгие годы не читая проповеди, а преподавая с кафедры в разных университетах. Веруя, что голос разума и истины непобедим и в конце концов окажется сильнее страха… (*с горечью и улыбчивой мягкостью*) Увы – двадцать лет скитальческой жизни и факт, что мы с вами встретились здесь доказывают, что я ошибался.**

**Караваджо. А как же вы оказались здесь, и почему?**

**Бруно. На меня донес ученик… Человек, который слышал обо мне, хотел научиться у меня истине и сам пригласил меня для этого к себе в имение, в Венецию. Однако, само дело давнее… Вам доводилось бывать в Венеции?**

**Караваджо. Я скрывался там три года назад… Не спрашивайте почему, только верьте, что правда была в моей душе, а не на стороне закона. А в чем обвиняют вас?**

**Бруно. В ереси.**

**Караваджо. (*после долгой паузы*) Да…**

**Бруно. Вы конечно понимаете, что это значит. Меня ждет суд, но конец для людей, познавших такое страшное обвинение обычно неизменен. Тем более, что я не посмею сделать шаг, который давал бы последнюю надежду. Я не предам то, что считаю истиной. И не предам свободу, которая дает право на истину. Впрочем, быть может вы трепещущий перед папой благоверный прихожанин и с этой секунды захотите проклясть меня. Я не обижусь.**

**Караваджо. О нет! Я быть может еще не понимаю до конца ваших слов, но они очень близки мне и отзываются в душе так, что сердце бешено заколотилось, а лицо и тело, невзирая на холод, бросает в жар… Я молод, но что такое ради свободы, достоинства и истины бросаться в пропасть знаю! Оттого уже успел узнал бездомность, злословие и ненависть, скитания по разным весям и тюремные подземелья…**

**Бруно. (*хоть не видно его лица, но с улыбкой*) Да мы с вами кажется братья!**

***Возле обоих камер появляется стражник.***

**Стражник. Проклятые ублюдки, отродье дьявольское, а ну-ка заткните рты! Вы грешники и скоты, которые должны не гудеть под сводами старого замка глупыми разговорами, а ото дня к ночи испытывать раскаяние и уповать на милосердие – Господне, Святого Папы Климента VII и папского квестора. Так что умолкните, если не хотите из пристойных камер попасть в карцер и сдохнуть прежде, чем справедливый суд Папы и Господа вас к этому приговорит! А что бы тюремный мрак не казался вам адом, в который вы попали прежде суда и костра, и не заставлял ваши жалкие души труситься от страха, я оставлю вам факел!**

***Стражник вправду втыкает факел в пол подземелья между двумя дверьми и уходит. Свет от факела освещает угол, две двери, позволяет немного разглядеть в маленьких оконца лица собеседников, но тонет в сводчатых потолках.***

**Бруно. (*в полголоса, почти шепотом*) Не пугайтесь! Они тут не слишком злы и строги, у меня уже было время узнать. Этот толстый верзила, в частности, скоро сам задремлет и мы даже услышим его храп. Давайте просто говорить очень тихо! (*весь дальнейший разговор и впрямь продолжается почти шепотом*)**

**Караваджо. А в чем же вас конкретно обвиняют? Неужели вы не верите в Господа?**

**Бруно. Верю, еще как! И отвечу вам, но прежде скажите, отчего вы не сумели прижиться среди больших римских живописцев, в таланте которых сомневаться наверное права нет?**

**Караваджо. (*насупившись и помрачнев*) Живописцы здесь и вправду хороши, но очень уж заскорузлы умом… понимаете? Учат писать так же, как учили их собственных учителей. Словно никакого иного пути к истине и красоте быть не может. А я так не могу! (*повторяет шепотом, вняв знакам Бруно*) А я так не могу. Я хочу искать и открывать метод, бесконечно. Обретать новое, пока не закроются глаза. Я трепещу перед тайной и возможностями света. Я умею заливать светом холст словно бы незаметно – так, что всё, лица и одежда, предметы и пространство дышат светом как прозрачным, но ощутимым воздухом, и тогда мне кажется, что свет и любовь, которые живут и горят во мне, становятся пролитыми на холст. А в последнее время меня тянет схлестнуть свет и мрак, дать свету торжествовать над кажется бесконечной и глухой мглой, так похожей на сам мир… Я часто вижу в грязных пятках, в злачных или мучимых болью лицах обывателей больше истины, чем в благородных и возвышенных сюжетах старых полотен, они прекрасны, понимаете? Прекрасны истиной, которую возможно прочесть в них и натуре вообще, пусть даже эта истина страшна! Всё, что есть – прекрасно, даже если уродливо, ибо таит в себе истину! Даже если речь идет о грязных пятках, лице старухи или теле, обезображенном холодом и отвратительной, страшной правдой смерти! Ссохшееся тело старика, его изборожденный морщинами лоб, пропитанное страстями лицо шулера или совершенное лицо моего друга Марио, которое дышит чистой грустью, в равной мере прекрасны, ибо полны смысла и позволяют постигать божий мир, лишь осмелься вглядеться в них умом и кистью! И когда я пишу всё это, мне кажется – я постигаю истину и смысл, которые в этом таятся! Я уже давно мечтаю писать святых и апостолов образами людей, которых дает встретить жизнь, ибо главное, чему учат Евангелие и вера, зачастую дано прочесть именно в жизни вокруг! А по факту я – лишь ученик, подмастерье… К этому пойдешь – заставит вензеля из лепестков писать. А к тому – копируй и постигай мудрость великих! Да не смей при этом своевольничать! То, что я могу и хочу, меня словно разрывает, перед моим умом как на ладони. Давно созрело во мне, не то что зачато, а хочет произойти на свет. Но во власти судьбы гибнет. И жизнь, время уходят, и пока я заслужу право работать и писать, как хочу, мой талант изувечат и сделают серым, погубят. Вот, у четырех мастеров я работал и рассорился со всеми, а писать самостоятельно – слишком беден и нет имени. А чтобы имя обрести – надо либо работать самому, либо позволить перетолочь себя в ступе, словно охру. Замкнутый круг. Словно змея кусает себя за собственный хвост. И остается лишь хлестать вино, сгорать в боли, спать на паперти или в саду и писать то, что позволяют обстоятельства. Увидеть истину и мудрость Господню в самом простом – вот путь, по которому я считаю должным идти! Да только как же добыть право на это?! Ведь учат писать совсем иначе, всего этого цураясь, словно чумы! Оттого шляюсь по рынкам да кабакам, хватаю и пишу лица, голоден часто по три дня и любой негодяй норовит обсмеять, но при этом счастлив!**

**Бруно. О великий боже! Я бы обнял вас как младшего брата, если бы не стены и двери, ибо мы и вправду словно братья! Друг мой… вы ведь разрешите вас называть так?**

**Караваджо. Конечно! Есть правда во лжи и мраке мира, а так же в глупости разных законов, если всё это позволило нам встретиться!**

**Бруно. Друг мой, хоть вы моложе меня почти вдвое, учены наверное не слишком и не читали множества великих книг, но сутью таковы же и силой и правдой вашего ума схватываете глубочайшие вещи! Свободны и правдивы сутью – вот главное! (*со смехом*) И так похожи судьбой!.. Двадцать лет назад я стал читать и думать, и с тех пор знал лишь одни беды, мытарства и людскую ненависть. Меня обвинили в ереси католики, а после – кальвинисты, которые показались мне поначалу ближе к истине. Любители Аристотеля приглашали меня читать лекции, а после гнали, ибо я трактовал их кумира слишком вольно. Я читал лекции в университетах Тулузы, Женевы, Парижа, Лондона и Оксфорда, Марбурга и Виттенберга, Праги и Франкфурта, в одних искал работу сам, в другие же меня с честью приглашали, ибо ценили мои знания, но в конце концов отовсюду гнали после ссоры с профессорами и патронами, ибо раздражала свобода и честность моей мысли, ее верность истине. И причина была в одном – обо всем я мыслил самостоятельно и глубоко, стремясь обрести истину и не страшась пойти против химер, на которых стоит ум тысяч «простецов» или же, что возможно еще хуже, раздобрели профессорские животы и подбородки! Рисковал на любые вещи иметь собственный взгляд и никогда не мог принять коллективную глупость, пусть даже солидную и умную лицом, освященную авторитетом веков или самой Святой Церкви! Новое и истинное страшит, друг мой, всегда и во всем, знайте и запомните это! Впрочем – вы это знаете, только по своему… Страшит, ибо рушит химеры привычного и обнажает мрак неведомого, в который надо бесконечно идти светом свободного ума и любви к истине. Твердая земля под ногами начинает дрожать и кажется – колеблется и рушится сам мир, ибо и вправду терпит крах и превращается в пыль ложь, которую требовали считать миром и нерушимой правдой. Свобода торжествует, но рушит идолы, привыкшие подчинять и успокаивать людской ум. И вместе с ними же падает во прах зло, которое от имени Господа и добра привыкло подчинять дела и совесть, бестрепетные руки слепцов и рабов. И чувствует человек, что один, а из под ног уходит почва. И испытывает одновременно страх и лютую ненависть к тому, что его на это обрекает… хотя может быть только так и начинает приближаться к Богу…**

**Караваджо. О синьор Джованни! Я вправду не знаю и доли того, что постигли и пережили в судьбе вы, но мне кажется, что еще никогда я не слышал слов, так глубоко прорастающих в душе, ибо необыкновенно близки ей!..**

**Бруно. (*воодушевленно*) Свобода – вот главное, что ненавистно и страшит, друг мой! Свобода ума, дающая видеть истину не в том, что принято и велено ею считать. Свобода души, которую Господь вложил в человека и через которую говорит с ним, должной отвечать за себя. И вот – должен человек иметь мужество, слышать внутри голос Господень и следовать ему, то есть решать самому, но боится этого и жаждет, чтобы кто-нибудь, пусть Папа или велящий от имени Папы и Господа аббат, приказали ему, вместе со многими другими подчинили и направили в делах! Даже если это будет значить совершать зло… Я проповедовал учение Коперника, о котором вы конечно не слышали… Земля, на которой нам с вами суждено жить и умирать, вовсе не плоска друг мой и не является центром мира, как учит Святая Церковь, следуя за парой больших, но всё ошибшихся философов древности. Истина в том, что она кругла и вместе с остальными планетами, которые ваш молодой взгляд может различить на чистом ночном небе, вращается вокруг солнца. Святая Церковь веками лжет об этом, как впрочем и о многом другом… А значит – ложь и зло так же и то, что она велит делать, не только думать? И зло совершают те, кто думает, что повинуясь ей, следует добру и божьим заповедям? Решись только признать это, как рухнут жизнь и сам мир! Оттого-то и горит истина на кострах уже сто лет, ибо лишь так раб может чувствовать себя спокойно. Свобода и истина страшат, а потому весь мир людской испокон веков был выстроен так, чтобы уберечь от них. А может ли, чтобы Господь отвергал свободу и истину? Нет, ибо сам он это и есть. И значит – не истина и свобода виновны, а мир, который вечно тонет во мраке лжи и трусости. И конечно же – не тот прекрасный и божий мир звезд и планет, бесконечных загадок и далей вселенной, пугающих ум и заставляющих его испытать трепет и жажду истины, нет! Людской мир, в котором, как и в самом человеке, часто торжествует совсем не божье… То, что от имени истины и Господа испокон веков привыкло подчинять и лишать свободы. И вот, последователи Кальвина ненавидят свободу духа и жаждущий истину ум точно так же, как Папа и Святая Римская Церковь, насчитывающая полторы тысячи лет. И точно так же призывают убивать и жечь на кострах друг друга и вообще всех, будящих сомнение… Свобода требует силы, друг мой, оттого и есть страшное испытание Господне…**

**Караваджо. Где же найти силы и выдержать чувства… грудь кажется сейчас от них разорвется. Синьор Джордано… лишь несколько часов назад я думал и чувствовал нечто такое, и кажется почти теми же словами… И часто казалось мне за недолгую жизнь, что дурное творят от имени Господа и под сенью распятий чаще, нежели доброе… А любовь, которая побуждает искать и творить, распинается от их имени, во лжи и мраке мира так же, как некогда был распят на кресте Сын Божий…**

**Бруно. Всё верно, друг мой. Учение Лютера и Кальвина, из-за которого уже столько лет льют реки крови, строится именно на том, что Господь внутри каждого из нас, вера в него и истины Святого Евангелия есть нечто иное, нежели заветы Церкви. Оттого еще пол века назад оно было провозглашено ересью и Папа призвал убивать любого, посмевшего в эту ересь впасть. А то, что последовали ему целые страны и народы, лишь стало трагедией и океанами зла, ибо бесконечна ненависть Церкви и ее покорной паствы к колеблющим догматы и прочно воссевшую на троне истины ложь. Ведь на власти Церкви и целые века пестуемой ею лжи, друг мой, зиждутся покой тысяч рабских душ и умов, сама их жизнь! Однако и последователи его, словно в горькой издевке, в конце концов точно так же ненавидят свободу духа и познания истины, которой человека наделил Господь! Я проверил это на личном опыте и еще раз убедился, друг мой, что дело в самой сути. В страхе перед свободой и познанием истины, которое способно подарить свет, но прежде окунает во мрак бесконечных тайн Господнего мира. Перед самостоятельным умом, который жаждет истины, дарит свободу и словно бы ею проклинает. В отчаянии ты рвешься под своды старейших университетов Европы, где кажется свобода и жажда истины должны торжествовать, быть освященными любовью и именем божьим, но находишь там лишь страх и неотделимую от него ненависть. (*после паузы*) Однако, друг мой, веру в Господа это колебать не должно. Он есть последняя истина мира и самого человека! Я гляжу умом в истину, и вижу Господа. Я гляжу умом в загадку, которая еще не раскрылась светом истины, и вижу Его. И он же всегда проступает в лице человека, который во имя свободы и истины готов взойти на костер. Оттого я с первых слов, брошенных в почти полном мраке, так проникся к вам душой! В вас, Караваджо, Господь говорит без сомнения! Когда свобода, любовь и жажда истины побуждают вас бунтовать – а вы кажется клокочущей смесью этого только и дышите, готовы в силе любви и протеста себя сжечь – Господь в эти мгновения движет вами, делая вас человеком! Я «еретик» и потому скажу – так и через это Господь всегда говорит с любым из людей, а не в «Падре Нострис», которое раздается под сводами соборов.**

**Караваджо. Дон Джордано, вы не еретик, а великий мудрец и служитель Господа, которому лишь во власти лжи и мрака могут желать причинить зло! Вполне возможно, что мне не суждено будет даже пожать вам руку, но я запомню наш разговор до конца дней!**

**Бруно. (*задумчиво, самому себе*) Однако, они всё же глупы… Я обвинен в ереси и содержать меня поэтому должно в строгом одиночестве, чтобы яд ереси не перетек из моих уст, «охваченных властью Сатаны», в чью-то еще душу… *(усмехается*) А этой ночью, сдается мне, истина ереси, ненавистная миру правда свободы, упала на почву редкой благородством и высотой человеческой души!..**

**Караваджо. И что же теперь? Вас ждет костер?..**

**Бруно. (*медленно и с тяжестью*) Скорее всего, друг мой Микеле… быть может, мне удастся еще потянуть жалко какое-то время в темнице, уповая на счастье и смысл встреч, подобных сегодняшней… Однако, вздохнуть свободно под римским солнцем я смогу наверное лишь в день грядущей казни, в свои последние минуты на земле…**

**Караваджо. (*после паузы*) И вам не страшно?..**

**Бруно. (*после паузы, с неожиданной твердостью*) Страшно. Очень страшно. Но дело в том, друг мой, что другого пути нет. У человека можно отнять право шевелить свободно руками и ногами, заковав их в кандалы. Его можно запереть по доносу в подземелье и лишить веры, что существует солнечный свет. Его можно мучить и терзать, рвать на части, мне наверное это еще предстоит… Но у него нельзя отнять способность и право думать, решать и искать истину. Остаться в этом верным Господу, будучи названным «еретиком» и как еретик и «богоотступник» – спаленным под улюлюканье и священный ужас толпы… И сохранить в себе последние господние силы на это. Человека можно убить, заковать в кандалы и заточить в темницу, но отнять у него свободу и решимость быть верным ей, а вместе с ней и самому Богу – нельзя. Лишь если сам он предаст Господа и себя, решит сбежать от свободы, сбросить ее как тяжкое бремя, покорно согнув шею перед чем-нибудь. Истина какова она. Лицом истины на человека смотрит Господь, а свобода, которая требует истины и побуждает искать ее, есть в человеке Его дыхание… (*задумчиво*, *потом горько и сурово*) Жизнь можно отнять, а дарованную Богом свободу и право на истину, которое ее воплощает, готовность души быть верным свободе, пусть даже расплата за это страшна – нет… Об Аристотеле вы конечно слыхали, Микеле… Учителем его был Платон – это имя вы тоже слышали. А учителем самого Платона был афинянин Сократ, которого заставили выпить яд по тем же причинам, из-за которых наверное сожгут на костре меня. И так же, как и мне, ему предлагали – живи себе на здоровье, только отрекись от истины, закрой рот и задуши свободный ум, заглуши вместе с тем голос совести… Про себя что хочешь считай, но на людях будь согласен с теми же пустыми глупостями, в которые верят они, на которых зиждутся их ум и жизнь, их порядки. Сократ выбрал смерть, друг мой, чашу с цикутой… выбрал дважды, ибо друзья приготовили ему побег. Ведь если нет права на свободу и истину, а значит – права быть собой, зачем всё? Тогда уже ничего не нужно… (*замолкает, вторит ему молчанием и потрясенный Караваджо*) Решись быть свободным, останься верным любви, будь человеком – так будешь близок к Господу, станешь его достойным чадом (*улыбается и мягко*) Это я вам, Микеле, как «еретик» говорю. Главная истина проста. Только вот мир, верующий в Бога и благословляющий Его именем самые страшные вещи, редко оставляет на это право. (*после паузы*) Ноги затекли, художник Микеланджело Меризи, прозванный Караваджо, которого, уверен, ждет великая судьба… Давайте спать, ибо неизвестно, какие испытания принесет грядущий день…**

 ***Храп стражника сливается с мерцанием факела.***

 **Картина VI.**

***Сцена погружена в полный мрак. Этот мрак рассеивается, оставляя глазам зрителя похожую на погреб, но впрочем довольно большую комнату с низкими сводчатыми потолками и маленьким оконцем, из которого сочится свет. Оконце это, однако, настолько невелико, что невзирая на разгар дня, о чем свидетельствует шум за окном, в самой комнате царит полумрак, похожий на преддверие сумерек. С обоих сторон комнаты стоят скромные кровати, у каждой из кроватей – по пюпитру, в целом обстановка очень бедна. Возле одного из пюпитров стоит Караваджо.***

**Караваджо. (*пишет*) Хоть комната это мало чем отличается от подземелья, из которого меня недавно выпустили, но я предпочитаю всё же ее, нежели соседство изо дня в день с Анной-Марией. Ей-богу, еще немного, и у меня не осталось бы выхода, кроме как совершить то, что моя душа считает гадостью… Впрочем, и Святая Церковь, насколько мне известно, называет это очень житейское и распространенное дело грехом. Я же, однако, с давних уже лет привык находить заповеди в душе, а не на проповедях… бывало колебался по слабости, но жил именно так… А теперь и колебания ушли, ибо этот человек сказал мне тоже самое, только ясными словами и с такой же верой, с которой принимали судьбу первые мученики Христовы, а может быть даже и Святые Апостолы… (*самому себе*) Он научил меня вере, «еретик»… Нет, не научил… помог укрепить то, что было «верой», как-то само собой родилось за несколько минувших лет. Разъяснил и убедил, ибо достойный человек и сам живет тем же… да так, что готов сгореть. Внутри Господь и правда, а не в святых книгах и церковных проповедях… Там надо искать их, прислушиваясь к себе, а не к речам церковников. Страшно, ибо остаешься совсем кажется один, если не считать таких вот чудесных безумцев, но истина… Вот только надо хорошо запомнить, чем это может кончиться… Во мраке и аду мира нужно уметь выжить, не растоптав света в душе… хотя чаще всего требуют именно такую цену… И оттого не выходит и либо бездомствуешь и сшибаешься на смерть, либо кончаешь, как он… Храни Господи жизнь и душу того человека от зла мира, пошли ему спасение! Я конечно же верю, именно так, как он… Свет любви и чистоты, который уже немало лет горит во мне, борясь и переплетаясь с разными лицами мрака, не позволяет не верить, ибо он есть Господь в человеке… И этот свет делает нас людьми… И сам я давно так чувствую, и тот человек прав и лишь помог мне понять себя… И вот – свобода так же есть в человеке Господь. (*усмехается, потом задумчиво отходит, пристально смотрит на полотно какое-то время и возвращается к работе*). Я грешным делом нередко думал, что буйный мой нрав, заставляющий в огне боли хлестать вино или, движимо какой-то несломимой силой внутри, отвергать большие авторитеты, скандалить и вынимать шпагу – грех и от Вельзевула, лишь надеялся, что суть и истина в ином. А теперь уверен – он неотделим от свободы, причем во всем. И потому от Господа… Ведь и в деле кисти всё так же… Рука моя умела, а глаз хватает натуру и ее чудеса, словно ум того философа, который безжалостно вгрызается в вещи и проникает в самую их суть. Однако, и мой ум свободен и вовсе не дремлет! И уже давно понимаю, а еще больше чувствую и догадываюсь, что хочу сделать и как надо писать! Вижу это по своему и совсем иначе, нежели учат тут, да и по всей Италии… словно совсем иные дали открылись мне и манят, сводят с ума, тянут подобно Сиренам… И это превращается в беду, ибо мне нужно работать, идти к неясным бликам, давно замерцавшим в уме и душе и с небывалой силой влекущим, превращая их быть может в великое искусство и путь. Мне нужно лишь суметь раскрыть и воплотить мой метод, прежде надежно поняв его, а такой возможности нет… Я вправду пока мало сделал, а больше болел и пил, скитался и сидел в тюрьмах, бегал от тюрьмы и сшибался шпагой, но моей вины в этом нету… Где тут работать и писать? Да мне нужно спеть осанну, что в этом смрадном и темном погребе, в котором в грядущие холода будет вообще пропасть, я нахожу силы писать и вдохновляю Марио (*заходится в кашле*) О, дьявол! (*привычно для себя внезапно свирепеет и рычит, хватает со стола глиняный кубок и швыряет со всей силы об стену… после успокаивается, но слышит шаги за дверью и быстро накрывает пюпитр покрывалом*)**

 ***Входит Марио Минитти, по прозвищу Сицилиано, друг Караваджо и его ученик.***

**Караваджо. А, это ты! Приветствую…**

**Марио (демонстрируя отличное настроение) Здравствуй, Микеле! (после паузы, с укором, в котором чувствуется одно дружеское тепло) Опять ты что-то разбил. Так нас скоро выселит хозяин, а найти с нашей бедностью место получше выйдет навряд ли…**

**Караваджо. С чего это ты так весел?**

**Марио. А просто так! Отличный летний день, один из последних, душа радуется сама собой. Скажи лучше, отчего ты так мрачен, хоть тебе и не привыкать! Ты не остался в подземельях Сан-Анжело, имеешь надежный и гораздо лучший кров и можешь писать не на залитом вином столе трактира, а возле пюпитра, словно в мастерской Д’Арпино! Так что же еще нужно тебе? Радуйся простым вещам, которыми Господь изо дня в день тебя одаривает!**

***Караваджо смотрит на него какое-то время со смесью симпатии и сарказма, а после возвращается к пюпитру, откидывает покрывало и вновь принимается медленно и вдумчиво писать.***

 **Караваджо. (*то ли Марио, то ли самому себе*) Светлое и чудесное дитя жизни… Тебя не зря потянуло ко мне… Но свет в твоей душе наивен… Хоть он уже изведал немало житейских тягот, не знает он бесчисленных лиц мрака, с которыми свет во мне уже давно словно бы борется и схватился на смерть. (*совсем уже бормоча*) И потому ты не можешь понять, что тяжесть терний, труда и задач, которые надо одолеть, чтобы не пропасть и суметь что-то сделать, мизерность надежд на это, отнимаемых не только бедностью, но еще и слепотой и заскорузлым умом тех, кто решает твою судьбу, придавила мне душу и сделала меня мрачным… Ибо речь идет словно о скале, которая либо рухнет, открыв дорогу судьбе и любви, быть может бесконечному, что дано совершить, либо раздавит и погубит (*становится вновь свиреп и особенно мрачен лицом*)**

**Марио. *(несколько обиженно, но без злобы)* оставь эти странные изречения, которые я, в отличие от твоих полотен и мыслей о ремесле, часто не понимаю. Дай лучше взглянуть, что ты там уже целую неделю пишешь каждое свободное мгновение!**

**Караваджо. Пожалуйста.**

***Марио подходит и заходится в различных полувозгласах, притоптываниях и причмокивании, которые очевидно выражают искренне восхищение.***

**Марио. Ой, это же я, опять ты нарисовал меня!**

**Караваджо. *(улыбкой*) Всё верно! Ты многому учишь меня, хотя сам считаешь меня учителем.**

**Марио. Только ты сделал здесь меня грустным! Я в жизни не такой, ты и сам знаешь!**

**Караваджо. Это верно. Но ты и не должен быть на полотне таким же, каков есть и каким открывает тебя другим и себе жизнь. Это было бы не интересно и глупо, поверь, и совсем не означало бы того познания мира чудом кисти, о котором так часто мы разговариваем. Ты должен быть на нем тем, чем являешься для меня, каким я тебя вижу в мыслях.**

**Марио. А впрочем, не важно, ибо вышел я и в этот раз изумительно. Как и всё полотно, хоть еще далеко от конца, зачаровывает, и конечно – светом. А как ты назовешь его?**

**Караваджо. Когда я решу, что завершил его, оно станет зваться «Музыканты»… (*с тонами горечи, дьявольского сарказма и только что бывшей ярости*) остается лишь надеяться, что это случится раньше тепла в следующем году!**

**Марио. (*с восторгом вскрикивая*) О боже, а ведь это ты рядом со мной, я только сейчас разглядел! Мы и на полотне вместе, как в самой жизни! (*с обожанием и теплом*) Ведь мы правда вместе в жизни, как настоящие друзья?**

**Караваджо. (*с теплотой и усмешкой*) Конечно друг. Ближе тебя нет в моей жизни ныне никого. И искреннее доверие наше друг друг стоит дорого. Один ты разглядел во мне учителя, а не подмастерья-недоучку, увлекся тем же, что манит меня, властвует душой и умом беглого Микеланджело Меризи так же, как и его рукой, если находится время. Лишь тебя я сумел убедить и увлечь, обратить в созревающую во мне веру… И вовсе не по причине наивности, глупости или молодых лет… Только вот боюсь, что ничего кроме горестей, тебе это пока не принесло и быть может вообще не подарит. Ведь пока наша с тобой вера, друг, обретет право на жизнь и станет искусством, быть может дорогой для многих, утечет немало времени и мук… А может и вовсе никогда этого не случится, хотя кажется мне, что время и мир вокруг движут моей кистью и умом, который вдохновляет ее, моими поисками… Время изменилось, заставляет чувствовать мир и жизнь совсем иначе, и писать по старому уже не выйдет, как бы не хотели они застыть… Нужно искать новый язык. И его обязательно найдут, верь мне, пусть даже это будем не мы с тобой. Живопись давно стала языком высоких и великих мыслей. Теперь только надо изменить ее собственный язык, научить ее говорить о «высоком» языком первозданной натуры и простых, обыденных вещей… Научив прежде видеть одно в другом, истину и «высокое», великие и поражающие смыслы – в грязи и глубокой мудрости простого, обступающего глаз ото дня ко дню… Языком кисти и воплощая разные сюжеты, пускай даже речь идет о Святом Писании, постигая данную глазам жизнь и мир, который может волновать глаза и ум, только пока мы живы… Та вера живописца, которая вызревает во мне бликами разных мыслей, в которую верую пока только я сам, невольно сумев быть может еще увлечь тебя и пару-тройку «признанных», несмотря ни на что сохранивших ко мне симпатию, состоит наверное именно в этом… Жаль только, если не будет суждено ей стать дорогой и плодами усилий, которые будут восхищать глаз…**

**Марио. (*после паузы, завороженно*) Знаешь, Микеле, мы не столь различны в возрасте и оба называемся художниками пока лишь друг для друга, однако ты кажешься мне иногда великим учителем и мастером…**

**Караваджо. (*самому себе*) Который написал пока с дюжину натюрмортов и бытовых сцен. (*Марио*) Оставь… Всё это и вправду может быть есть я… То, что таится во мне, чем я могу быть и стать. Что есть я по сути моей… Да только вот всё это может так никогда и не стать! Ты спросил, отчего я мрачен, как осеннее миланское небо… Так вот от мыслей об этом, друг… Ведь вправду ты да я – никто…**

**Марио. Оставь! Всё будет хорошо. Господь не может дать пропасть двум таким искренним людям, готовым ради святого для них рисковать!**

 **Караваджо. (*с ласковой и горькой усмешкой*) Во истину – блажен кто верует!**

**Марио. (*вновь возвращаясь к полотну друга*) И вот опять твой свет. Ты еще совсем не закончил, но он уже проступает, написанное успело наполниться и задышать им! И я всё никак не могу понять, как ты это делаешь!**

**Караваджо. (*усмехаясь*) Думай! Постигай! Учить не значит разжевывать истину, а учиться означает думать и искать самому. Быть может, ты когда-то разочаруешься в нашей общей сегодня вере, но запомни главную истину – даже пойдя в другую сторону, найди собственный путь и иди им, в этом главная цель… О чем бы ни шла речь и каким бы путь в конце концов не оказался. Это и значит стать. Я ныне могу предъявить лишь собственную, мерцающую в уме и душе веру, которая должна стать дорогой, да еще с пол дюжины полотен, хоть сколько-нибудь достойно ее очертивших… Ставших ее контурами, как сама она пока – лишь смутные, но словно бездонные блики мыслей в моей душе… Однако, пусть мало довелось мне написать, но вера, а значит – пусть даже получеткими бликами понимание того, как и зачем нужно писать, во мне созрела… Остается лишь бороться и работать, друг… Работать… О никто не знает, что сможет человек, дай лишь ему возможность! Светлый и надежный кров… время и силы терзать душу мыслями и поиском, а руку и глаза – постоянным трудом!.. Я всё равно не смогу иначе… Для моего желания сделать что-то я должен найти свой путь, воплотив то, что пока раскрывается его лишь самыми общими намеками, но от этого не менее душу и ум разрывает. Душа, талант и любовь должны найти свой собственный путь и голос, лишь так смогут пролиться в мир бесконечными и чудесными дарами. Так это со мной, по крайней мере. Я не из тех, кого наставляют истине и дороге подзатыльниками да чтением «Падре нострис». Я рода тех, кто ищет истину и путь, пролагает дорогу для себя самого и быть может – кому-то еще помогает этим обрести собственную. Писать, как меня пытались учить, а не пролагая дорогу кисти прежде собственной мыслью и верой, такой мыслью ее не направляя, я всё равно не смогу… Один человек, с которым довелось мне сидеть нынче в Сан-Анджело, лишь сумел убедить меня в этом окончательно, ибо дал понять себя… И значит – пропаду, мой нрав тебе известен. Хотя теперь я думаю, что лишь суровый и преданный стражник он того во мне, что от Господа, и потому нерушимо, таится и зреет, должно стать…**

**Марио. *(искренне и приглушенно*) Так в чем же наша вера, Микеле? В свете? Верно так, ибо он под твоей рукой не может не восхищать! Свет важен и чудесен у очень многих мастеров… Но у тебя он всегда значит что-то особенное. Ты упиваешься им, льешь его на полотна, пропитываешь им вещи, тела и краски, оставляя при этом словно бы не затронутым пространство. И хоть так в природе не бывает, выходит удивительно прозрачно и правдиво. Особенно же так, когда он льется у тебя среди мрака. И это не ново. Д’Арпино учил этому из полотен великого Тициана, да и Леонардо с Рафаэлем увлекались этим. Но у тебя в полотнах свет и мрак – словно бы две разных и борющихся, но не сливающихся сути. Так не бывает. Но ты делаешь так и словно с каким-то тайным смыслом, и убеждаешь. А бывает, что сильный и прозрачный свет заливает у тебя всё пространство холста и в нем совершаются события, что-то делают люди. И холст дышит светом, живет им, всё в нем живет. (с *необыкновенным воодушевлением*) И я, когда вижу это, словно возношусь душой, прикасаюсь к какой-то влекущей и непостижимой тайне, которую всё же нужно суметь понять. И не знаешь, что завораживает больше в твоих холстах – битва света и мглы или торжество света и его сияние, подобное самому миру… (*шутливо*) Оттого, увидев полгода назад, я стал готов словно раб идти за тобой куда и на что угодно, ибо был потрясен и поверил в истину пути, который ты сам ищешь и постоянно открываешь… И ты словно бы всегда что-то говоришь светом, быть может и невольно. Полотен твоих без этого особенного света, который ты постиг, представить нельзя. У всех свет – это просто свет. А для тебя он нечто большее, нежели одно лишь свойство натуры. Он речь твоей души и сути… (*С экстазом и чуть ли не с мольбой бросаясь к Караваджо*) Как ты это делаешь, Марио? Свет и его тайна наш путь, да?**

**Караваджо. (*со смесью чувств, среди которых задумчивость, ласковость и строгость*) О моем свете, друг, ты понимаешь быть может совсем не так мало… Достигаю его я в том числе и похожим на маленькую точку мазком, которым были так славны поздние флорентийские мастера… Этот прием позволяет многое… усвой его, как сам я некогда разглядел и понял его в полотнах дель Сарте и Леонардо… Однако – тут прежде, друг мой, надобно понять… (*с внезапной суровостью и властностью*) Думай! Ищи! И быть может, однажды сумеешь научить чему-то меня…**

**Марио. Это невероятно тяжело Микеле, мучительно для души… и дано не каждому… проще и верней пойти за кем-то, просто выбрать правильный путь и наставника, который его укажет?**

**Караваджо. (*пристально глядя на Марио, но более самому себе*) Ах ты милое дитя… где знать тебе, что лишь тот путь правилен, который сами мы находим и считаем таким… Однако, покажи же мне и ты картину, которую пишешь. (*Марио откидывает покрывало и Караваджо рассматривает с искренним вниманием*) А что, друг, весьма не дурна твоя попытка написать «Мадонну с младенцем».**

**Марио (*смущенно и благодарно*) Спасибо! Хотя я думал, ты не одобришь тягу к такому сюжету…**

**Караваджо. Отчего же! Я сам лишь мечтаю наконец-то взойти на пути исканий до того, чтобы суметь писать сюжеты Евангелия и понять, как это делать… Скажи мне, однако, как ты писал образ Богоматери – подсмотрел где-то натурщицу?**

**Марио. Нет. Я силился умом узреть образ «мира горнего», как веками учат этому!**

**Караваджо. (*дружески трепля его по плечам*) Вот то-то и оно друг мой… Лишь Рафаэлю удавалось так преобразить лицо натурщицы, чтобы она превращалась в Пречистую и несущую спасение Деву, но при этом не утрачивала дыхания жизни… И это несомненно путь, ибо от флорентийских матрон, которых Тициан и Мантенья великолепно изображали Мадонной, знаешь ли, может и скрючить. Однако, иногда мне всерьез кажется, что образы Святого Писания должно искать где-то в самой гуще толпы, ничуть их не меняя, перенося их на холсты со всей правдой и жизненностью – ибо самое глубокое и «горнее», верь, возможно узреть в мудрости и облике того, что дано глазам изо дня в день... В том числе – и образ Богоматери… Ее то мне кажется, надо искать именно в толпе, быть может и среди шлюх… Найти конечно будет трудно, но бог даст. Ты спрашивал меня, в чем моя вера живописца? Свет важен друг мой… я учусь раскрывать им смыслы образов и сюжетов, без его загадочной власти никогда моим полотнам не содрогнуть и не убедить… но разве же в этом дело! Еще важнее его – словно умом, научиться до самых глубин постигать кистью жизнь вокруг, превратить искусство в это и не важно, пишешь ли ты друга, соседского ребенка или святой сюжет… В обычных людях вокруг или привычной глазам житейской сутолоке разглядеть святых и вечные вселенские драмы… О, в этом путь и истина, верь мне!.. И если дано художнику со всем трепетом его души прикоснуться к святым сюжетам так, будто они совершаются перед его и зрителя глазами, то только через истину натуры и простой жизни, друг мой! И только тогда картина воплотит для зрителя мир «горний» с силой воздействия и убеждения небывалой, словно позволяя ему жить внутри святых образов и сюжетов, их смыслов и мудрости, заставит его дрожать душой и читать в ней истины, которые понял и вдохнул в нее сам живописец… Оттого меня так тянет к натуре и жизни вокруг – постигать их умом и кистью, раскрывать таящуюся в них истину… Оттого же я уже давно задумал, почувствовал в душе обязанность обратиться с этим подходом к живописи религиозной… Ведь чем же еще постигать смысл святых сюжетов, если не истинами натуры и простой, изо дня в день данной жизни, воплощенными кистью! И где более возможно найти подчас ответы на загадки, перед которыми ставят жизнь и мир, если не в истинах и смыслах этих сюжетов, как тебе самому дано из понять… О, это путь и цель! Я просто пока еще не созрел, не дошел, но даст бог… Ах как же они издевались над этими моими мыслями и жаждой узреть истину в гомоне рыночной толпы или в выпяченных задах простецов! Однако – путь и вера мои именно в этом, а уж какая судьба ждет их…**

 ***За дверью раздается шум из громких и твердых шагов и звона оружия, а после необычные звуки, в которых можно угадать удары о камни церемониальной трости. Властный крик «отворите немедля!» дополняет потрясение Караваджо и Марио. Оба они даже не успевают даже закрыть покрывалом пюпитры, Марио бросается к двери, а Караваджо – к стоящей в углу шпаге.***

 **Картина VII**

***В каморку Караваджо и Марио входят сначала четверо стражников в коротких плащах и при шпагах, за ними секретарь кардинала дель Монте Мантелотти и сам кардинал. Марио в испуге и в стороне присогнулся, в Караваджо напротив, остался в углу, спокойно держа шпагу и будучи готовым в любой момент ее обнажить.***

**Караваджо. *(первым и нарушая приличия*) Я кажется уже отсидел два дня в вонючем подвале за преступление, которого не совершал. Мне было положено промучаться спертым воздухом более? Или защищая тринадцатилетнюю девчушку от негодяев, я был виновен и должен сгореть на костре?**

**Мантелотти. (*опешив и с гневом*) Опомнитесь! Как вы смеете первым начинать разговор да еще такими дерзостями?!**

**Караваджо. Жилище мое убого, но хозяева в нем я да вот еще мой друг и ученик. А потому – я тут буду решать, что говорить и когда.**

**Мантелотти. (*еще более опешив*) Опомнитесь, безумный!! Перед вами монсиньор кардинал Франческо дель Монте! (*в сторону*) Он кажется и впрямь большую часть времени проводит по ночлежкам для нищих и канавам, если имеет такие манеры!**

**Кардинал. (*увидев, что Караваджо и Марио* *немедленно застыли в глубоких поклонах*) Всё так и есть! Его нарисовали очень верно. Строптивый нрав, готовность дерзить и немедленно хвататься за шпагу… (*подходит ближе к Караваджо, самому себе*) Гордость это человека, имеющего право на уважение, или же гордыня, узнаем позже. Однако, сын мой… (*протягивает Караваджо руку, тот с искренним почтением и в еще более глубоком поклоне ее целует, тоже самое делает и подскочивший немедля Марио*) Хоть слава о вашем нраве ползет по Риму как утренний туман с Тибра, найти вас было не легко. И хоть полотна ваши пока, насколько мне известно, особой популярностью не пользуются, одним нашим появлением мы уже принесли вам успех и доходы – вместе с вниманием. Ручаюсь, что все окрестности Пьяцца Навона собрались сейчас у вашей двери, гадая, пришли ли вас арестовывать и если да, то отчего сделать это решил венецианский кардинал.**

**Караваджо. Великая честь встретить вас в моем доме, монсиньор! И дело не только в вашем сане, а во всем, что рассказывают о вас и вашей любви к искусству.**

**Кардинал. Как вы конечно догадались, я здесь, движимый именно ею. Спор о вас невольно зашел в моем присутствии и был столь силен, что я счел должным найти вас и понять, о чем идет речь. Соблаговолите любезный синьор Караваджо показать мне то, что так волнует умы живописцев, имя и авторитет которых сомнений не вызывают. Я обхожу приличия и движусь сразу к сути, ибо стеснен во времени.**

**Караваджо. (*разворачивая холсты с «Гадалкой» и «Шулерами»*) В моей каморке нет вдосталь света, чтобы монсиньор мог как следует разглядеть…**

**Кардинал. *(с огнем и восхищением в глазах любуясь*) Его вполне достаточно на самих полотнах… да, я понимаю их гнев и взбудораженность! И Джентилески впрямь почерпнул его свет отсюда, о Мадонна! Нет, это вправду великолепно… (*переходит к другим полотнам, среди которых «Мальчик с ящерицей», «Вакх» и подобное)*  Свет ваш и вправду есть нечто особенное, пусть сходу и не понять, а чувство натуры потрясает…(*смотрит далее*) А что же скрыто на пюпитре?**

**Караваджо. Там не…**

**Кардинал. (*властно*) Покажите.**

**Караваджо. (*сбрасывая полотно*) Здесь неоконченное полотно, должное называться «Музыканты»…**

**Кардинал. (*с льющимся сдержанной струей восторгом*) И здесь всё тоже – свет, прозрачность… Это уже стиль, почерк… Синьор, кисть ваша одарена необычайно, а живописная мысль и вправду смела и нова! Я, верьте мне, видал за жизнь немало, великих и не слишком, а потому могу судить и говорю вам это в лицо. А где полотна на святые сюжеты?..**

**Караваджо. (*потупляя взгляд*) Их нет, монсиньор. Я с трудом нашел силы и средства, чтобы закончить предстоящее вашим глазам и…**

**Кардинал. (*властно прерывая*) Я понял. Талант огромен, а дерзким нравом говорит Господь. Труд довершит остальное. Слушайте! Недалеко от резиденции Святого Отца у меня есть выстроенная Рафаэлем вилла, где обретаюсь я с ближними… К числу них, однако, относятся выдающиеся римские художники, философы и поэты. Кто-то частенько посещает меня, иные же живут и работают со мною под одной крышей и верьте – в прекрасных условиях. Я предлагаю, чтобы ваших «Музыкантов» вы закончили там. И там же, пользуясь моим гостеприимством ровно столько, сколько пожелаете, написали еще множество чудесных холстов. Я обещаю вам (*возвышает голос, ибо Караваджо порывается что-то возражать*), словом венецианского кардинала обещаю, что ни в чем не буду вас ограничивать и не дам вам повода расплеваться со мной и вновь уйти шляться по римским закоулкам. Вы будете свободно распоряжаться собой и временем. Вы будете писать ровно то, что захотите и так, как вам это придется по душе. Вы встретите там, уверен, немало людей, общение с которыми так же будет вам радостно и обогатит вас. Вы конечно же встретите там и ваших недругов, но уверяю, что рядом со мной и в ореоле моего расположения, они если и не увидят вас в ином свете, то наверняка будут вести себя иначе. Так как же? И вашего ученика, конечно, ждет та же участь. От вас обоих будет нужно лишь одно – работать и раскрывать дар, которым наделил Господь.**

***Караваджо стоит некоторое время оторопев, после с искренностью, подобно рыцарю древних времен, преклоняет колено перед кардиналом и долго целует ему руку.***

**Караваджо. О, монсиньор! Мне кажется я сплю или в безумии наяву грежу, ибо всё это – мои молитвы…**

**Кардинал. Что же! Воспримем это как ваш ответ. Молитвы Господу – довольно привычная мне стихия. Мантелотти, распорядитесь здесь, вас же, синьоры, жду к вечеру у себя. (*охватывая жестом руки холсты)* Да, к слову – я покупаю всё это, если вы не против.**

 **Акт II**

 **Картина I.**

***1598 год. Зала в римской академии художеств Святого Луки. Собравшиеся ждут появления Федерико Цукарро, который помимо прочего, должен объявить решение по поводу принятия Караваджо в состав Академии. Среди собравшихся уже знакомые лица – Грамматико, Джентилески, Галло и Д’Арпино. Присутствует и Караваджо.***

**Галло. (*к Д’Арпино*) Как думается вам решится дело?**

**Д’Арпино. Поди знай! Лагеря разделились, вы ведь знаете. Решение в любом случае будет значить многое…**

**Галло. Всё верно. Речь идет о том, допустят ли в каноны живописи, служащей в том числе и просветлению человеческих душ, их погружению в истины и таинства веры, всё, что несет с собой его искусство. Позволят ли считать то, чем разит от его полотен, что льется из них могучей волной приемлемым. В конце концов – позволят ли учить этому и считать его идеи и подход в искусстве дорогой, примером для подражания. Согласитесь, вопрос во многом судьбоносный!**

**Д’Арпино. О, видите – вы произнесли «его искусство»! Он и вправду превратился за несколько минувших лет из необузданного смутьяна-ученика, который непонятно чего хочет, пускай даже талантливого, в мастера, у которого есть искусство. И даже вы, сохраняя к нему неприязнь, невольно признаете это, ибо иначе попросту нельзя. В его таланте ныне сомневаться невозможно – он значителен, быть может огромен. Впрочем, если вы помните, я и тогда признавал нечто такое, ошибался в другом. Он показал всем, что умеет работать, следуя собственным идеям и взглядам на путь. Вы сами только что в голос подчеркнули очевидное. С первого взгляда на его картины захватывает дух у любого, пусть даже у последнего невежды, ибо иной, новый подход проступает в них…**

**Галло. (*раздраженно*) Да нет же, дело просто в этом его свете, который он и вправду пишет и использует необычно, в эффектах, которые подобны приемам клоунов на рыночных площадях – грубы и ярки, производят впечатление на простолюдье, но стоят не много и к высокому искусству отношения не имеют!**

**Д’Арпино. (*откровенно оппонируя и ни чуть не колеблясь, словно бы вопреки словам Галло отстаивая истину*) Они излучают не просто свет и силу настроений… нередко даже глубину нравственных мыслей, как и должно быть конечно же у хорошего мастера. В них сразу проступают идеи и поиск, и если обычный человек, не слишком сведущий в искусстве, просто почувствует это, то мастер кисти поймет, о чем идет речь. Он и вправду кажется пролагает новую дорогу…**

**Галло. Вот-вот! Только в отличие от вас, я готов назвать это не дорогой, а обольстительной тропой в бездну, которой ведет искусство Искуситель! И потому – от решения президента Федерико зависит сегодня многое. Однако, вы злите меня! Говорите, словно его поклонник и сторонник!**

**Д’Арпино. Я не его сторонник, хотя в отличие от вас воздержался, а не подал голос против. Я просто не увлекся его идеями и в меру отпущенных мне Господом сил, искренне иду более привычной дорогой, которую однажды раскрыли мне учителя, в ней вижу прекрасное и истину. И как известно, кое-чего достиг. Я лишь признаю факт – он идет новым, собственным и очень ясным путем, на котором еще сделает и откроет многое, ибо ищет и работает. И я не вижу причин пытаться ему помешать. Да если даже и попытаться, навряд ли выйдет, вы опять правы лишь частично, Галло. Сила его распустившегося таланта увлекает и отстаивает этот путь ничуть не менее, нежели его по прежнему буйный нрав. И доказательство тому – ваш первый вопрос, дорогой коллега. Ведь не мало из мастеров Академии не просто рекомендовали его, а еще и до глубины прониклись его поисками и кажется готовы вокруг него сплотиться. Так что поверьте, даже если решение будет дурным и его отвергнут, это изменит немногое. Он продолжит работать, искать и открывать. И увлекать.**

**Галло. Смущать умы и губить таланты, сбивая их с правильного и надеждного пути в служении Красоте и вместе с этим – самому Господу!**

**Д’Арпино. (*с оттенком презрительного сарказма и осаждая*) Да перестаньте, Галло! Те коллеги, которые рекомендовали его, уже идут за ним и верьте – каково бы ни было решение, он продолжает расцветать на пути, который сам, дерзостью и не боясь испытаний пролагает. А открытое им на этом пути увлечет многих и окажет влияние, которого мы возможно даже не предполагаем… (*задумчиво*) Он стал другим… или тем, кем был и тогда, мы же просто не сумели понять...**

**Галло. *(с возмущением*) О Мадонна, так наймитесь к нему в ученики или станьте одним из тех, кто на вилле монсиньора чуть ли не день ото дня крутится возле его пюпитра!**

**Д’Арпино. (*спокойно и не реагируя на попытку его задеть*) Я не считаю это необходимым. Я вижу путь и прекрасное в мудрости старой школы и еще раз повторю – вполне возможно достойно служить делу и на ее дороге. Так меня когда-то учили, раскрыв путь, и меняться поздно и не нужно. До конца дней я буду искренне и с любовью работать так, как научен, надеясь совершить не меньше, чем уже успел. Но не вижу причин мешать кому-то рядом… Возможно, рядом берет начало великое, что послужит делу ничуть не менее… Ведь над всем, Галло, стоит служение Красоте и Господу, а каким путем мы делаем это…**

**Галло. А я вижу! И в особенности – если предполагаю, что вы правы! Дорога важна как ни что иное, она решает всё! Он не стал другим, ничуть! Раз пять монсиньор вынимал его из тюремных подвалов, куда он попадал после очередной попойки или драки – ему вишь ли казалось, что задевают его достоинство! Он перестал писать грубые сцены, но делает гораздо хуже – ту же самую грязь жизни, облик и нравы простолюдья, переносит в полотна на святые сюжеты! Веками учим мы, что языком натуры, в совершенстве овладев им и должным образом сумев натуру использовать и возвысить, призваны мастера кисти погружать человека в мир господних, «горних» истин, самим прежде к нему прикоснувшись! Приблизить человеческие души к высоким откровение и истинам веры, облагородив их этим! Брать мир Господень, некогда павший в грехе, делать язык его совершенным и создавать тем святые, высокие образы! А что он делает?! Принявшись за святые сюжеты, изображает апостолов словно простых людей, в людей их по сути и превращая! Да это святотатство, презрение всех канонов и истин, за которыми тысячи живописцев идут испокон веков! Мы стремимся приблизить человека к миру небес, он же словно бы спускает этот мир не просто на на землю, а в самую грязь. Вы видели его Юдифь?**

**Д’Арпино. Дважды. Старуха-служанка там великолепна. Сама смерть. Или же само страшное и неотвратимое возмездие нечестивцу, задумавшему зло для народа, через который в мир должен был прийти Спаситель. Мне кажется, я видел ее однажды на паперти небольшой кьезы в Трастевере. От мурашек по коже и благородного трепета в душе не уйти.**

**Галло. Ах, перестаньте! Я слышал, что он изобразил Юдифью приглянувшуюся ему куртизанку! И вы не переубедите меня – если полотна его начинают быть известными, то прав синьор Президент, лишь из-за покровительства и обожания монсиньора кардинала да еще дешевых трюков, благодаря которым в них становятся не видны пустота и лишенность всякой благородной и священной высоты!**

**Джентилески. (*оставив Караваджо и Грамматико, подходя и расслышав последние слова*) Досточтимый Галло, вы не правы! Его познавший экстаз Святой Франциск поэтичен и проникает в самую глубину души, и так это именно благодаря тому, что вы называете «дешевыми трюками», а проще – таинственной и лишь одному ему доступной игре мрака и света. И потому еще, что стал святым Франциском там молодой монашек из Сан-Онофрио, хорошо известный, ибо благословлен припадками, в которых ему является Господь.**

**Д’Арпино. (*неожиданно поддерживая*) Да-да, любезный Галло, смените гнев на милость! Дух и мудрость великих мастеров минувшего столетия оставили печать в его «Жертвоприношении» и «Отдыхе на пути в Егпиет», а жизненная правда и простота святых образов и их чувств, лишь способна наполнить душу трепетом и умилением.**

**Джентилески. (*решив схватить удачу и с воодушевлением наседая и развивая мысл*ь) И то, что Караваджо воплощает на полотнах простых людей, как глаз дает увидеть их, наполнив образы святых их чувствами, быть может лишь еще более приближает к миру Господних истин, дает прожить тот в сердце и делает силу искусства, власть его в умении этому миру причащать небывалой!**

**Галло. (*припертый к стенке и используя сарказм как последнее оружие*) Да?! И Святая Церковь с таким подходом согласна, позволяя писать то, что вздумается, а не веленное ею и выверенное не за один век?..**

**Джентилески. (*парируя*) Вы знаете, коллега, среди служителей церкви всё больше тех, кто увлечен талантом Караваджо и видит в нем возможности для служения Господу небывалые…**

**Галло. (*на ухо Д’Арпино*) О причинах я сказал вам…**

**Джентилески. (*продолжая*) А сам Микеле кажется полностью решил отдаться святым сюжетам, решив на них опробовать свой метод и в их создании усматривая цель, главную… И верьте, с глубиной его души и верой, что как-то по особенному живет в его сердце, с его хоть и простым, но подобным философу умом, и не могло быть иначе… Позвольте, я вернусь к нему (*уходит*)…**

**Галло. О боже, решение кажется и впрямь непредсказуемо! Вы только поглядите – Джентилески обращен в то, что вы называете у этого человека «исканиями», словно язычник в веру! И он не одинок!**

**Д’Арпино. (*отвечая*) Вот-вот. Так что идите привычной вам дорогой и не ратуйте, уединяясь подолгу с Цукарро за то, чтобы задушить новое.**

**Галло. Сдается мне подчас, что если возведут его полотна в ранг закона, мир искусства рухнет, ибо обратится во прах то, на чем столетия стояли умы и вкусы.**

**Д’Арпино. А может быть и нет и лишь новый стимул и язык получат давние мечтания, откроется иной путь к главной цели живописи – с мощью воздействия и чувства обращать в веру и причащать миру истин ее, погружать в святые идеи и образы… не менее достойный. И нарекаемое вами, а так же синьором Президентом «трюками», вместе с жизненной грубостью или же просто правдой натуры, будет заставлять трепетать перед полотнами не менее, чем удивительный дар Рафаэля натуру очищать и возвышать… И поди знай, что из этого более… Впрочем – подчас ревностной любви к натуре был не чужд и Рафаэль. И верьте, чтобы не решил синьор Цукарро, это не будет «судьбоносным», по вашим словам. Путь, на который вступил Караваджо, будет пройден им самим и верьте, очень многими. Что не мешает нам быть преданными той дороге, которой нас однажды научили.**

 **Галло. О нет, я не согласен! Опасность разложения умов и вкусов велика, а закон, верьте мне, обладает одинаковой силой, идет ли речь о догматах Святой Церкви, папских буллах торговцам или же правилах живописи! И если только синьор президент решит правильно, то у коллеги Караваджо не будет слишком уж много возможности обольщать неокрепшие в традиции и школе умы, а после – его живописная ересь, верьте, разжигающая дешевые пристрастия, сама собой утратит магическую силу обаяния и воздействия, которую обретает ныне.**

**Д’Арпино. Время покажет истину, коллега (*желает отойти*)**

**Галло. (*желая задержать*) А каким гонором он светится всё последнее время, завоевывающий симпатии меценатов и служителей церкви, обласканный монсиньором кардиналом небывало! Раньше просто хватался за шпагу или плевал на порог, ныне же научился вести себя в приличном обществе сообразно, но слово петух подпрыгивает от чувства собственной значимости, веры в заблуждения и презрения к тем, кто их избегнул… О нет, он опасен, с его совершенно диким нравом в особенности! А зачем, собственно, ему нужно быть принятым в Академию? (*с издевкой*) Он ведь идет «собственной дорогой», отстаивает в общем деле лишь то, что сам считает верным, презирая с гневом мнение более опытных коллег! Ничуть с их мнением не считаясь и не желая от них признания! Да он сам себе Академия!**

**Д’Арпино. Вон он сам стоит – художник, дар и значение которого не могут не признать даже его ненавистники. Спросите же у него сами.**

**Галло. А я скажу вам – помимо официального признания, потока заказов и пенсии он…**

**Д’Арпино. *(прерывая*) А почему бы собственно и нет? Он совсем не мало изведал в жизни тягот, вам ли не знать…**

**Галло. (*заканчивая, вопреки раздраженным возражениям Д’Арпино мысль*) Он жаждет превратить его ересь в учение и закон! И этому, сколь я знаю мир, не бывать!**

**Д’Арпино. (*с почтительной холодностью, за которой чувствуется неприязнь*) Я уже сказал вам, что думаю по этому поводу. Путь развернулся и будет проложен, вне зависимости от чьего-нибудь желания, ибо он нов, способен послужить великим целям и кажется – словно бы воплощает окутывающий время дух перемен, который мы ощущаем пока быть может неясно… Остается либо присоединиться, либо идти в другом направлении. Так считаю я, ибо верьте – нельзя отвратить быть может самим Господом предначертанные перемены… *(с грустью*) Меняются, Галло, мир и сам человек, душа человека… И таким переменам нужен язык, новый… Быть может наш и вправду обречен отжить… (*с внезапной строгой суровостью, в которой читается чувство собственного достоинства*) Но то, что им дано сделать нам, которым рискованно вступать на новую стезю, ибо поди знай, чего на ней достигнешь – продолжим делать как велят достоинство, любовь к Господу и мастерству (*откланивается и присоединяется к другой группе что-то обсуждающих коллег*)**

**Галло. Благородный слепец! Быть может судьбы или Господней воли, если они таковы, и впрямь не отвратить, хотя я уверен, что речь идет лишь о дьявольских проделках… Но посильно помешать – возможно. Закон есть закон. Для торговцев, прихожан в церкви или живописцев – без разницы. И то, что оказывается его статусом вне закона – пугает и силу увлекать утрачивает. Страх – великая вещь перед лицом соблазнов, в избытке наполняющих мир… (*так же отходит к другой группе и присоединяется к дискуссии*)**

 **Картина II**

 ***Те же, но разговор ведут Караваджо, Грамматико и Джентилески.***

 **Джентилески. (*стоя рядом с Караваджо и Грамматико*) Знать об исходе дела не дано, но будем верить в лучшее!**

 **Караваджо. *(с мудрой горечью во взгляде, хотя от его облика ныне и впрямь разит силой, энергией и небывалой уверенностью в себе*) я предчувствую, чем всё кончится… не стоило быть может поддаваться на ваши, друзья любезные уговоры, и подавать прошение…**

**Грамматико. О нет, Микеле, ты не прав. Ведь даже не представляешь, как важен и судьбоносен может быть твой прием в сообщество признанных коллег!**

**Караваджо. (*с подавшей голос свирепостью*) Признание моим полотнам даруют их прекрасность, сила застывших в них чувств и мыслей, а так же дар, который я сумел за прошедшее время раскрыть. Мне не нужно признание хромающих стариков или их трусливо жмущихся перед лицом поисков и неведомого последователей…**

**Джентилески. (*с улыбкой переглядываясь с Грамматико*) Микеле, ты не прав. Одно дело творить и обретать в исканьях путь, опираясь на искренность, ярость и силу души, господний дар, пусть даже и с поддержкой многих, другое же – успокоиться и стать законно признанным. Перестать ощущать себя в вечной борьбе, не имеющим право на то, что движет душой и кистью, а потом словно бы на износ и разрыв сердца сражающимся, чтобы это отстоять. Обрести основы, внимающих учеников. Верь нам, это важно. Ты расцветешь благодаря этому с еще большей силой, ибо силы твои перестанут уходить на чепуху и лишнее, на совершенно напрасные препятствия. Уверенность твоя ныне подпитана сторонним признанием многих, но подобна натянутой над пропастью веревке или дрожанию соборных шпилей в сильный ветер. В одной лишь давней ярости твоей она черпает силу и опоры. А нам сдается, что пора душе твоей обрести покой и чувство твердой почвы.**

**Караваджо. Я благодарен тебе, искренний друг, но сдается мне иногда, что мой дар мой расцветает, а путь уходит в даль именно в борьбе. Всё новое не может отстоять себя иначе. Признанье ваше и многих почвой служит достаточно надежной. Мне скучно без драки. И страшно, если мои полотна и меня самого перестают поносить. Я тогда утрачиваю веру, что иду верной дорогой. Истинное должно злить, взъерошивать лживые души и привыкший коснеть и спать во власти предрассудков ум. Иначе оно не истинно. Что же до решенья… Я продолжу работать так, как вижу. Есть деньги и покровительство монсиньора кардинала, восторг немалого количества людей… Но если бы завтра прихоть судьбы, со всем, что ныне я умею и знаю, вновь обрекла меня быть гонимым и скитаться, я всё равно продолжил бы, с еще большей силой…**

**Джентилески. А знаешь ты господни тайны, подчас нам кажется, и многим… Свет в твоих полотнах – тайна, ведомая лишь твоему уму и раскрывавшаяся в нем не один год. Заполняя пространство целиком или воюя с непроглядным мраком, он непонятно откуда льется и всегда что-то говорит, содрогает ум и душу, а не только взгляд. Лишь убери его, как рухнет сила чувств и мыслей, которые ты вложил в полотна.**

**Караваджо. (*с улыбкой*) Вот, тоже самое говорил и мой Марио в далекие теперь уже времена.**

**Джентилески. (*продолжая*) Свет у тебя – голос божественной истины и суд души, предвосхищающий господний суд, экстаз обращения в веру или возвышенная и жертвенная мука во имя нее и скорбь, которая при взгляде на такую муку не может не охватить человеческое сердце. Он полон смысла, всегда становится голосом или же знаком чувств и мыслей, которые ты вкладываешь в полотно. Для всех он просто свет, без которого не написать натуры и вещей. А ты ведешь его мудростью и силой не просто взгляд, но ум и душу того, кто встал перед написанным тобою… Он слишком многое значит в твоих полотнах, чтобы зваться просто светом и быть сочтенным лишь эффектом, рассчитанным поразить… В твоих руках он мощное орудие, которым ты безжалостно разишь ум и душу зрителя. Со светом этим, что в тебе, поверх буйного нрава, сильнее мрака и льется в полотна и жизнь, твои мысли приходят в зрителя, прорастают в его уме и душе!**

**Караваджо. Всё верно, друг. И понял это ты еще тогда, мне кажется, когда я был скитающимся без дома… (*с доброжелательной усмешкой*) Однако – тяги моей к грубой натуре вы ведь тоже не приемлете до конца, а?**

**Грамматико. (*мягко и увещевающе, но при этом что-то важное для себя отстаивая*) ты должен нас понять Микеле. Каноны сильны и по своему мудры, а ты и впрямь иногда слишком увлекаешься тем, что быть может вовсе не так стоит внимания… или не стоит его вообще…**

**Караваджо. (*на секунду заглядывая грустным взглядом в пустоту, а после с истовой убежденностью и наставительной твердостью*) Вот, главного вы не приемлете и не желаете понять! Совсем не ново писать святые образы и сюжеты языком того, что предстоит глазам и окружает… Со старины так повелось. Так чувствуем мы мир господних истин, делаем его близким себе. Так с небывалой силой переносимся душой в него и то, что призваны вобрать, постичь в нем... И чем более ты пишешь святых подобно людям с их драмами и чувствами, тем с большей силой миру господних истин причащаешься сам и ведешь к нему других, делаешь язык живописи не просто близким и понятным, а разящим, повергающим во прах и сотрясающим душу. Уверен – лишь это в основном поймут и воспримут после того, как властью Господа или прихотью мира я закончу свой путь. И это будет не слишком ново. Фламандцы и германцы следовали этому пути еще тогда, когда Леонардо искал в обобщенных и утративших всякую жизнь формах земли язык для платоновских идей.**

**Джентилески. Общение с Кампанеллой пошло тебе на пользу!**

**Караваджо. (*сурово*) Не в нем дело. Это не ново. Я лишь вдохновенно и с убежденностью продолжил этот путь, быть может в искренней своей вере в Господа, желая различить в ней и истинах ее наиболее человеческое… как те же германцы привычны уже более полувека…**

**Грамматико. (*раскрыв глаза, потрясенно и со страхом*) Осторожно, художник Караваджо – мы не одни здесь.**

**Караваджо. *(не обращая внимания*) Я нов в другом. Достоин мир вокруг того, чтоб постигать его умом и кистью, видеть в нем истины мира господнего и «горнего». Различить в том, что предстоит взгляду изо дня в день истины, которым учит нас Евангелие и драму человека, мира и судьбы, о которой оно деяниями Сына Божьего и Святых Апостолов говорит – вот путь для кисти, пишущей сакральные сюжеты! Пусть даже всё это ты понимаешь собственным умом и совсем иначе, нежели предписывает Святая Церковь…**

**Джентилески. (*не менее потрясенно, с испугом и умоляя*) Микеле, осторожно, мы среди полной залы!**

**Караваджо. (*не обращая никакого внимания, увлеченно и погруженно в мысль*) Принялся ты писать о муках Христовых или призвании учеников его – пиши о драмах, вековечно раздирающих жизнь и сердце человека, как сам ты понимаешь их и видишь, различая их в событиях Евангелия… Вот путь и цель для живописи. Вот суть моего увлечения натурой, какова она! Вот, что так властно, словно поработив душу и ум, влечет меня писать сакральные сюжеты, а не одна лишь мода и привычка веков, без верности которым карьеры не сделать! *(совершенно увлекшись и уже целиком самому себе, словно хватая словами и проясняя для себя истину, которая ему в этот момент видится*) Постигать кистью мир вокруг и значимое в нем, воплощая святые сюжеты, различив в них и в том, в чем с ними согласен истину! (*Джентилески и Грамматико испуганно и отчаянно переглядываются*) Зреть «горний» мир и прикасаться к нему кистью, используя язык образов и событий жизни вокруг, данной глазам и в мгновениях, ибо в ней самой различаешь прежде «горние» истины и драмы! Постигать ее и мир, воплощая «горние» образы! Вот путь и цель! Вот главное, что значит слиянье и смешение времен в моих полотнах, а не одну лишь старую привычку, благодаря которой чувствуем мир господних образов и истин так, будто в нем живем, а не среди мрака и грязи… Драмы и истины, о которых говорит Евангелие – они перед нами, друзья мои, предстают глазам день ото дня, в обычных людях и событиях, лишь осмелься и научись сначала вникать в них, а после воплощать в полотнах… Я обращаю в полотнах истины Святого Евангелия к нашим дням и окружающей жизни, если мой серый ум, в отличие от вдохновенного ума того человека – редко, именно в самой жизни схватывает их, дает их разглядеть… (*замирает в молчании*) В «горнем» различить истины «дольнего», которые открывает ум… В «дольнем» узреть истины, которым учит Евангелие. Сказать об этом кистью, выпуская из под нее в мир простых людей, превращенных в апостолов и святых… Лишь это по большому счету привлекает меня в святых сюжетах – возможность их языком постигать мир,**

 **Джентилески. (*на ухо Грамматико*) – уверен, что если что-нибудь рано или поздно отвратит души церковников от чудес, которые выходят из под его кисти, то именно это. Слова, вылетевшие только что из уст Галло, убеждают…**

**Грамматико. (*отвечая на ухо Джентилески*) Однако, возможно именно это более всего когда-нибудь повлияет на путь.**

 ***Раздаются церемониальные удары тростью и в залу с собравшимися входит президент Академии Федерико Цукарро. Множество витиеватых приветствий, которыми с ним обмениваются члены Академии, маститые и признанные римские художники. К Караваджо слова и внимание Цукарро обращает после вереницы приветствий и в последнюю очередь.***

**Цукарро. (*вежливо, но с холодной и подобной приговору суровостью*) Досточтимый синьор Караваджо! Академия Святого Луки была создана ровно пять лет назад, дабы хранить в ее стенах каноны и великие заветы прошлого, оберегать их от дурного влияния времени и мира, в котором, увы, как и в сердцах людских, нередко властно заявляет о себе Искуситель рода человеческого. Почтение к великому наследию и готовность служить ему трудом кисти, ума и души – таково условие стать одним из членов этого собрания. Вы талантливы, что доказали многим. Вы популярны, быть может – в первую очередь вашим пренебрежением заветами. И потому, с коллегами мы приняли решение отказать вам, подарив возможность разобраться в пути и самом себе. (*Отвешивая еле заметный поклон*) Синьор, мое почтение! (*сразу и резко отворачиваясь к остальным собравшимся*) Коллеги – прошу вас в соседнюю залу, где для вашего суда разместили работы достойных из учеников!**

***Джентилески, Грамматико и Караваджо остаются одни. Перед этим Караваджо берет с подноса у слуги бутылку.***

**Караваджо. Мрак льется в душу. И хоть торжествовать ему уже не будет дано никогда, остудить его огонь нужно. (*откупоривает бутылку, и как привык в годы молодости, делает долгий хороший глоток*)**

**Джентилески. (*переглянувшись предварительно с Грамматико*) Микеле, что тут скажешь… Мы и многие другие сделали всё, чтобы услышать иное… Но не беда…**

**Караваджо. (*перебивая его*) В сравнении с вином, которое подавали в трактире у развратной и глупой курицы Анны-Марии, это просто пойло…**

**Грамматико. Микеле...**

**Караваджо. (*С болью и горечью, глядя куда-то внутрь*) Ах, как он хлестал меня словами! Какое наслаждение получал, отказывая в праве быть принятым в приличное сообщество и называться художником по праву документа и положения, а не таланта, труда и горящей души, которой удается что-то свершить! *(пьет залпом, свирипеет и хочет швырнуть бутылку, но Джентилески с Грамматико вовремя его останавливают)***

**Джентилески. Дон Микеле, вы кажется сами говорили, что вам решенье будет безразлично.**

**Караваджо. (*устало и опустошенно, быть может даже с тонами жалобности*) Я врал.**

 ***Джентилески с Грамматико удивленно переглядываются.***

**Караваджо. Что смотрите? Я врал. А прав были вы.**

**Грамматико. В чем именно ты врал, а мы же были правы?**

**Караваджо. (*со внезапно прорвавшимся и нарастающим гневом*) Как в чем?! Хоть я не Марио и мужество имею идти своей дорогой, какими бы смрадными и ядовитыми шипами она не была устлана, вы что же думаете – не желаю я покоя? Однажды пробудиться, увидеть свет и испытать не просто вдохновение работы и планов, а покой и счастье от сознания, что не польются на детей моей руки потоки грязи и дерьма? Укоры и издевки, подобные плевку в святое, в самую душу?! Я что же каменный, железный, а не просто человек, которому во всех мытарствах, борениях и поисках души бывает горько, больно и страшно, обидно словно малому ребенку?! Вы что же думаете – что если норовлю я всякий раз обнажить шпагу и всадить ее в грудь очередного негодяя, так просто от силы, необузданного нрава и неколебимости души, а не именно от этого?! Считаете что я, убивший двух мерзавцев (*внезапно замирает пораженный, с ужасом и словно увидев судьбу*) Бог любит троицу… (*после паузы*) Считаете что я, вершивший смерть, скрывавшийся в Венеции, скитавшийся и пивший, обретший путь в борьбе и плодоносящий ныне подобно зрелой яблоне, бывает не желаю завыть на римскую луну, словно просящее у мира если не помощи, то хотя бы милосердия дитя? Да можете ли вы представить себе, лощеные мазилы, спокойно способные в отсутствии собственного голоса перейти через Стикс и остаться в живых, или переплыть горящий дьявольской кознью Тибр, даже не измазавшись в саже, что пережито мной в душе до этого мгновения? (*в пустоту*) За что вновь суждено рухнуть моим надеждам, а мраку, подобно прежним временам, заползти в душу и в ней плясать?! Что сделал я дурного или преступного в глазах Господа?! (*Устало успокаиваясь*) Да где вам… Один лишь милый мой Марио, честный и преданный, но бездарный, прошедший рядом всё, об этом знает…**

**Джентилески. (*дружески и строго, не поддаваясь обиде*) Дон смутьян и шпажист, обуреваемый сейчас глумливой издевкой Вельзевула, не соблаговолите ли вы вспомнить, что вас зовут Караваджо и вы – благословленный Господом, а вовсе не совращенный силами тьмы гений, который должен подняться и идти дальше?**

**Караваджо. (*глядя благодарно и со слезами в глазах, а после улыбаясь и трепля Джентилески и Грамматико, обступивших его, по плечам)* Да, вы правы друзья… И я конечно пойду… И буду идти, пока продолжу дышать и хватит сил (*внезапно заходится в кашле с кровью*)**

**Грамматико. (*испугано*) Что с тобой Микеле? Ты поперхнулся и вино выходит из тебя наружу?**

**Караваджо. (*продолжая какое-то время кашлять, после приходя в себя*) Такая дрянь вполне способна вылиться обратно наружу и без помощи случая, а от одних лишь конвульсий оскорбленного желудка. Ведь пил я в жизни много и только отличное вино. Оно было мне всегда дороже панталон. Еще дороже – только холст и краски.**

**Джентилески. Так в чем же дело?**

**Караваджо. Я кашляю с тех самых пор, когда валялся с здешней лихорадкой и сдается, что эскулапы из Сан-Иньяццо тогда меня не долечили… Бывает, что накатит. А может быть и так, что будто всё проходит, как это большую часть времени на вилле. Однако, с кровью кашель мой впервые… Гнев ударил в голову небывало, и где-то в потрохах пролилась кровь… Да, я пойду… А вы со мной?..**

**Джентилески. И мы, и многие другие, тебе известные. Цукарро с Гало могут сколь угодно ставить тебе палки в колеса, но увлечены тобой немало членов Академии, которых конечно за это никто не лишит статуса и на костер, в отличие от несчастных грешников-еретиков не отправит…**

**Грамматико. (*вполголоса*) Пока, по крайней мере.**

**Джентилески. Да, пока. И тем не менее. Продолжим мы учиться вместе с тобой тем тайнам живописного языка, которые ты открываешь и даришь…**

**Грамматико. Они сделали глупость Микеле. Формально ты остался «за бортом», как бы сказал наверняка какой-нибудь пират или клейменный каторжник, знающий о галерах не понаслышке. Однако, на деле ты станешь ныне лидером еще большим, волнующим умы противовесом заскорузлому. А мы послужим этому основой, вокруг тебя сплотившись и поддержав тебя авторитетом. И находя в открытиях твоих луч света и отдушину средь адского удушья живописной мысли, которая словно бы вместе с душой умерла.**

**Караваджо. (*обнимая их*) Да будет так. И с этого момента примусь я за работу с большей еще силой, обещаю.**

**Джентилески. Идем. И вспомни кто ты, отвесь пощечину им наотмашь уверенным и бравым видом, как ты умеешь.**

**Караваджо. И вправду (*начинают идти*)**

**Караваджо. (*на мгновение останавливаясь в сторону*) Работать буду. И бороться. И совершу на этом правильном пути немалое. Но прежде – загляну к куртизанкам, что вечно шляются возле древних развалин. К дешевым – эти более иных знают правду жизни и боли. Если не вымазаться в грехе, то хоть вдоволь напоить вином вновь пляшущий в душе мрак… А если шлюх не будет, пойду к достойной замужней шлюхе Анне-Марии, которую не видел уже несколько лет… вдруг жизнь пошлет что-то интересное для взгляда…**

 **Картина V.**

 ***17 февраля 1600 года. Не так давно случился очередной неаполитанский бунт против власти испанского императора. Арестован Кампанелла, принимавший в нем участие. Костры инквизиции горят по миру, от Мадрида до Рима. Небольшое ларго в окрестностях площади Кампо-дель-Фьоре. На углах домов торговки и торговцы персиками, апельсинами и прочим, которым не нашлось места в этот день на рыночной площади, пытаются не потерять денег и зазывают покупателей, которые валят в сторону площади в изобилии. Караваджо сидит, словно бездомный пьянчужка, прислонившись к углу дома, вызывая в равной мере интерес торговцев и их раздражение. Об него периодически спотыкаются спешащие в сторону площади прохожие.***

**Караваджо. (*в очередной раз отпивая из бутылки)* Пей мрак и празднуй, сегодня твой день… Сегодня один из дней, которые редко выпадают тебе, так пей же вдосталь, наслаждайся прекрасным тосканским вином!**

**Первая торговка. Какой мрак, забулдыга? Светлый день, который вот-вот станет еще светлее, ибо загорится костер!**

**Вторая торговка. Апельсины, чудесны апельсины из окрестностей Палермо! Пахнут, словно попка молодой невесты в брачную ночь. (*нравоучительно и с благочестием на лице*) И не только потому, что запылает костер! На костре сгорит проклятый еретик и страшный грешник – это главное! Мир станет светлее, а блики солнца еще ярче засверкают на куполе Святого Петра.**

**Караваджо (*со свирепой яростью глядя на нее*) Давай мрак, пляши и торжествуй, беснуйся, подобно языкам пламени, которое загорится вот-вот! Отводи душу! И пей (*пьет*).**

**Первая торговка. Да какой мрак – день светлый вокруг? Где ты видишь мрак, если подстать радостному событию, даже римский февральский день сияет солнцем, словно лицо невесты в предвкушении брачной ночи!**

**Караваджо. Смотря, как посмотреть.**

**Вторая торговка. (*со смехом и раздражением*) А как можно смотреть иначе, нежели все, глупец? Все люди видят сейчас светлый день, который скоро станет еще светлее.**

**Караваджо. (*задумчиво*) Смотря, что видеть. Тебе разве никто не объяснил однажды, что суть вещей может быть отличной от их облика?.. (*Пьет*)**

**Первая торговка. Он меня пугает. Сколько же он выпил?**

**Торговец персиками. Персики, чудесные неаполитанские персики! В них застыло солнце, под которым жгут еретиков! А сладки они так же, как лоно девственницы-невесты в брачную ночь!**

**Караваджо. Тьфу ты, черт, скоты… Одно на уме! (*вправду сплевывает и запивает горечь во рту вином*) Празднуй, мрак! Сегодня твой день и я пою тебя щедро и вдосталь…**

**Вторая торговка. (*которая никак не может успокоиться)*. Да какой мрак, чтобы тебя черти разорвали на тысячу частей, сгореть тебе самому на костре однажды! Попался же, чтобы смущать душу и ум. Иди в другое место и там пей, а не короби светлые и радостные чувства достойных людей!**

**Первая торговка. Он не сможет – слишком много выпил. (*со злостью нешуточной и подозрительно, словно желая докопаться до сути и вцепившись в Караваджо взглядом*) Так какой мрак? Сегодня светлый и радостный день, ибо налицо жаркое солнце и костер с еретиком, который вот-вот во славу Господа Иисуса, умершего на Кресте ради искупления наших грехов засияет! Так видят все. Так чувствуют сегодня все добрые римляне-католики!**

**Караваджо. Смотря, кто видит.**

**Первая торговка. (*продолжая наседать*) А ты что, видишь что-то другое? Может ты и думаешь иначе, чувствуешь в сердце сегодня другое, а не одну лишь праведную радость от совершения справедливого божьего суда?**

***Караваджо не отвечает но сопит и смотрит на нее с непередаваемой ненавистью.***

**Торговец персиками. (*добродушно и примирительно*) Да оставьте, его! Он же просто ненормальный, «паццо»!**

**Вторая торговка. *(увлеченная неожиданной мыслью и с облегчением*) Всё верно! Я что-то такое сразу почувствовала! Шляется, сволочь мерзкая, радость души и ум смущает (*зло смеясь, Караваджо*) Эй, «нокьолино», иди отсюда! (*продолжает, ибо Караваджо не обращает внимания*) Люди, смотрите-ка, что за чокнутого Господь, вместе с казнью еретика, послал нам сегодня повеселиться!**

**Первая торговка. (*продолжая с ненавистью и цепко вглядываться в Караваджо*) Да поди знай… Сдается мне, что он не так уж и безумен, а просто один из тех, кого Святая Церковь так любит нынче во славу Господню превращать в факел. (*смотрит на него так, что готова кажется порвать его зубами*)**

**Торговец персиками. Персики, сладкие неаполитанские персики, которые подсластят вам радость от казни проклятого еретика, чтоб кишки его запылали прежде, чем душа отправится в ад и на суд Господень! (*товаркам*) Оставьте этого «паццо», во имя Господа Иисуса и мук того, которые сегодня хоть немного отмстятся!**

***Караваджо пытается при таких словах нащупать шпагу, которой в этот раз с ним нет, потом смотрит на оскорбляющих его торговцев, машет бессильно рукой и просто продолжает пить, приговаривая «торжествуй мрак, и пей!».***

 **Торговец персиками. Гнилью тянет сегодня с Тибра, подстать событию.**

**Вторая торговка. Сегодня гнили в мире станет чуть меньше, святой костер очистит воздух!**

**Первая торговка. (*продолжая с ненавистью вглядываться в Караваджо*) Гнили в мире много, гореть кострам – не перегореть, а палачам Святой Инквизиции иметь вдоволь работы, чтобы кормить и учить детишек.**

**Торговец персиками. А кого жгут-то сегодня? Я так и не успел спросить?**

**Первая торговка. (*отчетливо и с расстановкой, по прежнему вперив взгляд в Караваджо и словно ему*) Одному грязному еретику-философу, который посмел думать иначе, нежели благочестивые люди вокруг и обвинил Святую и Праведную Матерь Церковь во лжи!**

**Торговец персиками. (*крестясь благочестиво и со священным ужасом*) Да таких скотов, прежде чем очищать их души огнем, должно на глазах достойных людей хорошенько помучить, чтобы знали, как это сметь покушаться на святые вещи!**

**Вторая торговка. (*благочестиво и праведно крестясь*) Хоть мучит их огонь достаточно – ты прав, ей же Господь Иисус, страдавший за грехи людские! Сметь мутить покой душ и умов людей! Да за это и вечного адского огня мало!**

**Торговец персиками. А как его имя? Чтобы я мог произнести в вечерней молитве, прося Господа и Деву Марию не щадить его души, мучить как следует!**

**Первая торговка. Джордано Бруно! И говорят, он был сам монахом, пока дьявол не вселился в него и не сбил с пути!**

**Вторая торговка. Благословен костер Святой Церкви, зажигаемый самим Господом Иисусом – Спасителем, страдавшим за людские грехи! (*еще более праведно и благочестиво крестится*)**

***Все трое начинают с воодушевлением голосить*. Синьоры! Персики! Апельсины! Скоро начнется казнь, на которой сгорит проклятый еретик, подсластите же себе радость христианских душ, купите персики и апельсины, которые слаще мук, должных достаться еретику!**

**Торговец персиками. (*в сторону*) Что еще остается добрым людям на этом свете, если не объединять души и дела!**

***Крики продолжаются. Караваджо, на которого уже никто не обращает внимания, медленно и с трудом встает на ноги.***

**Караваджо. Пожалуй, и вправду отойду в сторону. Слушать вас, грязные скоты, мучительней для души, чем если бы черти сейчас вдруг вздумали затянуть песни. В чертях было бы меньше ада и дьявольского зла, нежели в вас и ваших грязных речах о Господе…**

 **Картина VI.**

 ***Темный тупик в переулке рядом.***

**Караваджо. (*чуть отрезвев*) Смердит мочой и сыростью так, что кажется всё вино сейчас выйдет обратно, но лучше… Он долго протянул, шесть лет… Как будто всё предвидел, пророк… Мудрец… А как же так, что жгут под сенью распятий и мучат того, в ком бога больше, чем в церквях, распятиях, папских тиарах и проповедях?! (*с яростью*) Что же это за мир, если для божьего – любви и свободы, льющегося из души света в нем места нет, а от имени «воли божьей» да при одобрительном людском гомоне пляшет и торжествует адский мрак? (*смеется, а после кричит с отчаянием*) Где же здесь тот свет божий, свет любви и духа, которым я полон с юности, коий берегу, несмотря ни на что, и сколько дано сил стараюсь лить в мир?! (*устало и опустошенно*) Вот, и моего Марио рядом больше полугода уже нет… Напуганный этими кострами, а может вновь грядущими переменами, он рассорился со мной и уехал на Сицилию… Пусть найдут его душа там покой, а кисть – ум и талант… (*перекривляя*) «Монсиньор кардинал справедливо укоряет тебя, ибо пишешь ты святые сюжеты дерзко и пасквильно, без должной, благородной и возвышенной чистоты!» (*вновь с яростью*) Глупец! Всегда был глуп… хоть искренен и добр. В глупости и злости искренен не менее преступно, чем эти скоты… (*вдруг начинает плакать*) О боже, он во пламени костра, рассыпающийся на глазах у стада опьяненных кровью, страхом и ненавистью скотов в прах! Он, душа света, истины и любви, чистая более, нежели облик последней рафаэлевской мадонны! Смиренная в ее мудрости и твердости, нерушимой верности истине! Жертвенно высокая и истинно, как только и возможно, служащая Господу свободой и любовью! Один лишь раз я говорил с тобой, не видев даже как следует лица, но яснее лика Юдифи нарисовав в душе его и твою полную господнего света душу!.. *(успокаивается и затихает, после паузы*) Вот, полгода уж, как я оставил виллу кардинала и живу у банкира Маттеи, которого, в отличие от дрогнувшего душой монсиньора, мои полотна по прежнему восхищают, а не тревожат, но Марио, который столько лет был со мной изо дня в день, рядом нет…**

***По всему окружающему пространству, кажется – от Пьяцца Дель Попполо до древних развалин, раздается гомон колоколов, означающий начало казни.***

**Караваджо. (*кричит с отчаянием*) О нет, я не могу! Не могу видеть его там! Не могу заставить себя пойти и взглянуть на это! (*после паузы, с неожиданной силой и твердостью вскакивая на ноги*) Нет, я пойду, я должен… Я должен запечатлеть в памяти его лик в эти минуты… Я должен, ибо страшная истина мира, истина свободы и духа, борьбы света и тьмы откроется сегодня воочию!.. Я должен... Обязан взглянуть на мужество, которого у меня самого нет (*с ненавистью*) И высота римских крыш позволит мне не задохнуться в адской пляске толпы… (*уходит*)**

 **Картина VII.**

***Площадь Кампо-дель-Фьоре, забитая орущей толпой. Посреди площади сложен костер для казни. Караваджо сидит под крышей одного из домов со стороны Сан-Андрео, едва виднеется в окне. Он подглядывает за происходящим из окна, всё впитывая не только глазами, но умом и душой, что-то себе шепча. Вдруг гул нарастает. Со стороны палаццо Фарнезе толпа расступается, ибо ведут приговоренного к казни очистительным огнем, Джордано Бруно. От Бруно, с которым общался шесть лет назад перед этим не осталось ничего. О нем может напомнить лишь твердость, которая читается даже в сбивающемся шаге и его искривленном истязаниями теле. Из глаз Караваджо начинают молча литься слезы, когда перед ними всё это открывается.***

**Папский квестор. (*закончив* *под крики толпы читать приговор*) Ты каешьтся ли еретик, в свои последние мгновения на свете, обретая покаянием быть может последнюю надежду на прощение Господне?**

**Бруно. (*тем же самым мудрым и увещевающим голосом, просто более слабым*) Нет. (*Толпа разражается яростными и ненавистными криками «сжечь!»*)**

**Папский квестор. (*приближаясь к нему вплотную*) Дрожишь ли ты, зная и видя воочию, какая страшная мука настигнет тебя спустя считаные мгновения, обретая трепетом тела и души последнюю надежду на прощение?**

**Бруно. Вы же видите, что читали приговор мне с большим страхом и трепетом, нежели я его слушал. (*Толпа разражается криками «сжечь!», «заставьте его мучиться!», «посмотрим, как он запоет и будет корячиться, когда святой огонь обнимет его!»*)**

**Бруно. (*после паузы и в толпу, тоскливо*) Ни одного человеческого лица на лицах. Рабы. Несчастные… Каждый из вас сейчас бы исходил мочой и униженно молил о пощаде, но мне истина и свобода, во имя которых я умираю, придают силы, твердости и покоя, каких не знают и праведники в раю… (*Крики толпы возобновляются с такой лютой яростью, что квестор делает знак стражниками вокруг костра*)**

**Папский квестор. (*палачам*) Действуйте, и да благословит Господь праведный суд и огонь во имя Его Вящей Славы!**

***Джордано Бруно хватают, привязывают к столбу, придвигают вплотную хворост и поджигают. Караваджо всё это время сцепив зубы рычит, плачет и льет слезы.***

 **Бруно. (*начиная ощущать пламя*) Человека можно заковать в кандалы и посадить в подземелье. Его можно истязать душой и телом годами. (*сколько есть сил возвышает голос*) Его можно убить, обречь быть спаленным на костре! Но у человека нельзя отобрать свободу!! Его нельзя лишить способности думать, следовать истине и чистоте души, через которую говорит с ним Господь!!! Унизить его и сделать рабом нельзя, если только сумел он выжечь и убить раба в себе сам!!! (*кричит, уже почти весь объятый огнем*) Я умираю мучеником добровольно и знаю, что моя душа с последним вздохом вознесётся в рай!!!**

 ***Треск костра, гомон набатов на церквях и крики толпы сливаются в один адский шум, поверх которого слышны крики Караваджо.***

**Караваджо. (*кричит и рычит*, *не в силах сдержаться и уверенный, что его не услышат*) Отродье адское, скоты! Прикажи вам Папа, вы точно так же, от имени Христа и под сенью Его распятий на куполах великих соборов, сожгли бы сейчас с благочестивыми минами на лице и Его!**

 **Картина VIII.**

***1600 год, конец июля. Трактир Анны-Марии, глубокий вечер. В дальнем углу сидит Риччо, то есть Рикардо Франделли, и доныне порученец герцога Строцци, только теперь главный. Он сохранил молодость вида, но маститость чувствуется во всем его облике, в том числе – и в еще более роскошном камзоле. Он пьет дорогое вино и сидит в пол оборота, более лицом к глухому и темному углу, тонет в полумраке и потому незаметен Караваджо, который пришел и начал пить позже него. Караваджо сидит напротив – ближе, весь озарен пламенем очага. Прислуживает им и другим посетителям, коих немного Чичолло, сын трактирщицы лет 15.***

**Анна-Мария. (*входя с вечерней воскресной мессы, сообразно одетая и убранная*). Достойные синьоры, добрый вечер! Надеюсь, мой сынишка хорошо служил вам, а сейчас я сама возьмусь за дело! (*раздаются пара одобрительных и приветствующих возгласов, а Анна-Мария, сразу заметив Караваджо, скидывает платок, чем помимо роскошных золотистых волос обнажает конечно выпирающую из декольте и по прежнему соблазнительную грудь, и бросается к нему. С радостью и уважением*) О, синьор Караваджо, вы снова у нас! Давно вас не было! И видит Святая Мадонна, этот вечер не мог закончиться лучше! У нас всё по прежнему, особых радостей и событий нет, как впрочем и горе минует нас, слава богу, стороной. Обычная жизнь, слава богу. А вот о вас Рим полнится слухами! И жизнь ваша бурлит, как мы знаем, а божественная рука, которая в отличие от лица не состарилась (*берет в руки его ладонь и с восхищением и страстью рассматривает*) творит полотна еще более великие!**

**Караваджо. (*чуть пьяно и раздолисто, с хорошей долей иронии, но в целом радостно и дружелюбно*) Здравствуй, здравствуй моя милая развратная курица! (*приобнимает ее дружески*) Всё так же соблазнительна и прекрасна, не стареешь! (*в сторону*) Однако, ума кажется не прибавилось так же, как и морщин на лице и груди.**

**Анна-Мария. (*надувшись*) Зря вы так! Вовсе я не развратна (*невольно и незаметно для себя юля грудью и бедрами перед Караваджо, стараясь заставить его смотреть на нее, а не в полумрак трактирных углов*) Просто я с молодости люблю всё яркое, необычное… И поверьте – искренне рада вас вновь видеть!**

**Караваджо. (*с неожиданной, но по прежнему ироничной искренностью*) Так и я рад! Всякий раз придешь к тебе, и чего-нибудь эдакого, для ума и работы полезного наберешься… А мне это сегодня нужно особенно…**

**Анна-Мария. Всякий раз, когда вы приходите, либо потасовка выходит с почтенными горожанами или даже знатными синьорами, либо что-то радостное случается! В последний раз, два года назад, вы так восхитились моим сынишкой, любующимся собственным отражением в бочке с водой, что написали его на полотне и сделали известным на весь Рим! (*после паузы, призадумавшись*) Только очень уж вы его состарили на картине, не по годам он вышел, ведь было ему тогда только двенадцать с небольшим! И назвали его странно.**

**Караваджо. (*осаживая ее бурчанием*) «Нарцисс» назвал я, дура… И не его, а полотно. И вышел он таким, каким я его видел. (*в сторону*) Где тебе понять, что я увидел в нем тогда себя, всматривающегося в собственную суть и душу, пытающегося судить себя и пытать вопросами, найти ответы, понять… Я видел в нем тогда себя, глядящего самому себе в лицо и словно спрашивающего – эй, Микеле, убийца и хмельной распутник, трудяга и талант, что же ты стоишь под этим солнцем, чего хочешь и почему так отвергает тебя благочестивый, устроенный и довольный мир вокруг, видать лишь ради смеха полный мраком, а не светом?.. Сын твой тогда был мною, глядящим в тайну и чудо человеческого лица… (*почти кричит*) понимаешь ли ты – л-и-ц-а! Л-и-ц-а, как сам человек и жизнь его неповторимого чертами, даже если ты родился сицилийцем или евреем и род твой печатью застыл на тебе до конца дней! Неповторимого человека, единожды и навечно пришедшего в мир и идущего по дороге, называемой жизнь, в котором таится бог, но по большей части торжествуют мрак и обывательская грязь, ибо лишь через адские муки свет, бог и любовь в нем себя раскрывают, добывают право быть в мире… Он был тогда словно мною самим, глядящим в лицо себе… пытливо и пораженно врезающимся глазами и умом в чудо и непостижимую тайну человеческого духа… света и любви… всего, в чем дышит в человеке Господь… веренице мук бесчисленных и адских тягот жизни и судьбы, которые от этого, какой-то уж самой последней загадкой неотделимы… Оттого я решил писать его…**

**Анна-Мария. *(обалдело глядя на Караваджо и словно приходя в себя мосле мгновений оторопелости*) Не понимаю я вас, синьор Микеле… никогда не понимала. Но вышел мой сынок всё же красивым, словно я не от мужа родила его, и на славу целому Риму! У нас с тех пор отбоя нет поэтому от завсегдатаев. Так что спасибо вам!**

**Караваджо. (*с дружелюбием и пьяной радостью, вновь приобнимая ее за талию*) Да тебе и не нужно, милая моя курица! Прекрасна ты и без этого, словно сама жизнь!.. (*вновь в сторону и более самому себе, задумчиво*) Да, словно сама жизнь, не ведающая ада ума и тяжести свободы, горя совести и любви… жертвенных мук труда и борьбы. И потому не знающая боли и часто кажется даже теней печали, не то что края бездны… (*вновь к Анне-Марии, словно желая сделать ей комплимент и польстить, проявить к ней расположение*) Прекрасна ты, словно сама жизнь! (*в сторону*) Как вообще эта отвратительная и рождающая ярость жизнь, более похожая на скользкую гнусность или застывшее, исходящее римской лихорадкой болото, может быть прекрасной…**

**Анна-Мария. (*ничего не поняв, залившись удовольствием и потому еще с большим дружелюбием к Караваджо*) А что же великий художник Караваджо ищет сегодня в моем кабаке вместе с любимым французским вином?**

**Караваджо. Матфея.**

**Анна-Мария. (*после паузы и оторопело*) Кого-кого?..**

**Караваджо. Матфея, говорю же тебе… (*после паузы, видя, что она не понимает и с раздражением*) Матфея, Святого Евангелиста и Апостола, призванного ученика Господа Иисуса Левия Матфея! Что, раздери черт, тут не понятного?**

**Анна-Мария. (*с благочестивым ужасом крестясь*) Смилуйся над ним милосердный Господь, он допился, похоже! *(к Караваджо, с особенной и успокаивающей ласковостью*) Синьор Караваджо, быть может вы подниметесь наверх, в так хорошо знакомую вам комнату, и там отдохнете? Вам понравится, мы ее недавно белили! А завтра, на свежую и трезвую голову…**

**Караваджо. *(в сторону, веско и сентензиозно*) Да – ума, в отличии от округлости зада и здорового цвета кожи, упорно не прибавляется, хоть годы и идут! (*ей*) Французы из Сан-Луиджи, так любящие покупать у тебя вино родных краев, прониклись моими успехами на почве благочестивой живописи и решили заказать мне целую капеллу, посвященную житию и мученичеству Святого Апостола и Евангелиста Матфея, донесшего нам деяния и путь Господа, чтобы хранили они нас и направляли путь наш во мраке, аду и всей боли мира… напоминали нам о самих себе. И вот, я ищу Матфея. Я ищу и не нахожу его… и работа стоит… Уже скоро должен я отдать готовые полотна, а не написано ни линии, ибо Матфея нет... (*в гневе бьет кулаком по столу!*) Я днями шляюсь по вонючим римским помойкам и канавам, гублю себя пинтами дешевого вина в кабаках для последних нищих, сплю в их ночлежках и на папертях, одними глазами или с горящим факелом посреди дня ищу моего Матфея, а его нет!! (*в еще большей ярости бьет кулаком по столу*) Не нахожу его! Господь как видно проклял меня, лишив если не вдохновения, то одного из тех ликов грязной и подлой жизни вокруг, которые всегда мне его дарили… (*устало и опустошенно, после хорошего глотка вина из кубка*)… Нет Матфея… Хоть спустись в преисподнюю и попроси Вельзевула наколдовать и явить его, коли Господь не посылает…**

**Анна-Мария. Пойду-ка я, нарежу вам к барашку артишоков…**

**Караваджо. Иди, иди… Иди, как я пришел к тебе в кабак за последней надеждой обрести то, что ищу… Ни лика нет Матфея, ни идеи, как сюжет с ним написать, что высказать через сюжет… Нет той идеи, которая всегда вдохновляла меня… норовя быть высказанной, помогала мне понять, как трактовать и написать сюжет, ибо словно в нем являлась и раскрывала себя…**

***Из полутемного угла сзади раздается полный боли, но властный крик «Караваджо!»***

**Караваджо. (*неторопливо разворачиваясь и привычно начиная свирипеть от попытки говорить с ним маршальским тоном*) Кому это пришло на ум из адской тьмы звать меня именем, которое мне самому подчас противно, ненавистно?**

**Голос из полумрака. (*всё так же властно*) Меня ты знаешь, и давно… Иди ж ко мне сюда, в мой полумрак, взглянуть в лицо и убедиться!..**

 **Картина IX.**

 ***Караваджо подходит к полутемному углу, где обнаруживает хлещущего вино Риччо. Обычно излучающий силу и уверенность в себе, о чем и ныне сказал его властный тон, он сидит как-то особенно и совершенно иное демонстрируя позой. Локти его опущены на стол, голова свешена ослаблено между плеч, а взгляд обращен не к подошедшему Караваджо, а неотрывно уперт в брошенные на стол золотые испанские дублоны. Кажется, что он просто слишком сильно захмелел, ослаб от выпитого. Однако, это только кажется...***

**Караваджо. (*презрительно и даже чуть разочарованно, ни чуть не удивившись и не загоревшись эмоциями*) А, ты!**

**Риччо. (*глухо и с болью*) Да, я… узнал?**

**Караваджо. (*всё так же презрительно и спокойно*) Узнал конечно… Отчего же не узнать? Ты обликом совсем не изменился, всё так же молод лицом, хоть выпил, очевидно, за эти годы немало. И жизнь твоя, как погляжу, осталась прежней. Да и слыхал я про нее, бывало.**

**Риччо. Слыхал конечно я и о твоей. Тебя вот годы только поизносили… Тогда казался ты намного старше лет, а ныне, словно усыхающий старик, которого быть может медленно, но упорно покидает жизнь… Что, много пьешь?**

**Караваджо. Тебя поменьше, хоть бывает. Работа и боль ума, однако, старят сильнее и неумолимей, чем вино. Дух мой во время работы горит и клокочет, торжествует над мраком и исходит силой, наполняется чувством счастья, смысла и уважения к себе невероятного, но тело это иссушает и силы его отнимает… (*самому себе*) Да и кашлять стал я в последнее время всё больше и чаще с кровью, чем без нее. А впрочем наплевать – хоть давно я неприятен видом, но мой талант и сила духа влекут ко мне развратных, сладким телом куриц более, как мог ты убедиться, чем молодость лица, дублоны в кошельке и страх, ставший вместо ума и таланта гнилой опорой для уважения…**

**Риччо. (*вопреки ожидаемому не парируя и не заводясь, а всё так же упершись пустым взглядом в дублоны на столе, глухо и с болью*) И здесь ты прав… во всем прав…**

**Караваджо. (*в сторону*) странно слышать от него это… Он кажется взаправду страдает, горит в душе болью и пустотой, так знакомыми мне (*подходит вплотную к столу*)**

**Риччо. (*глухо и с болью, искренне и с дружеской теплотой, кажется чуть ли не умоляя*) Выпей со мной вина, художник Караваджо… Сделай милость.**

**Караваджо. Нет, не выпью. Кто ты таков, чтоб я с тобою пил, а не с блаженными нищими на паперти или же со шлюхами возле римских развалин, которые иногда кажутся больше похожими на Мадонну, нежели сами Мадонны Рафаэля. С ними – больше чести.**

**Риччо. И здесь ты прав, и я не обижаюсь. Не ты скажи такое, уже б убил, не доставая шпагу… Тебе же скажу как на духу, из глубины души признаюсь – прав…**

***Караваджо на глазах всё больше трезвеет, видимо начинает что-то чувствовать и понимать, присобирается умом и вместе с этим – внимательным взглядом начинает вникать в Риччо и его облик.***

**Караваджо. Пить не буду. Однако, вижу я, что пьешь ты по той же причине, что и тогда, только более властна и страшна она в тебе, стала неизбывной и губящей тебя мукой, почти приговором. И судя по словам твоим, не столь ты ныне слеп и лучше понимаешь ее. А потому, сяду с тобой и выслушаю, если хочешь.**

**Риччо. Садись. (*наливает себе, пьет, а после не на Караваджо глядит, но по прежнему упирает глаза в лежащее на столе золото*)**

**Караваджо. Так что ж ты так горько пьешь, Риччо Франделли, если всё у тебя в судьбе было и остается хорошо? Стал ты еще влиятельней и властней, как я слышал, и богаче. Шлюхи по прежнему боятся тебя, хоть говорят, что любят и от одной лишь любви дарят сладость, а синьор Строцци превратил тебя в главного своего холуя и вроде бы на людях, подобно беговому скакуну ценит. Всё хорошо. Так в чем же дело? Отчего душа твоя сгорает в боли? Отчего же всё тело твое, от плеч до взгляда, говорит о муке отчаяния и пустоты, целиком наполнивших и поглотивших душу, властно подчинивших и поработивших ее, равно как и саму твою, павшую во зле, рабстве и грязи мира жизнь? Пьем с давних пор мы во власти одних и тех же чувств и причин… Однако, я имел силу ума и души глядеть в лицо им, сознавая их суть и правду, а ты от них слепо, чем-то себя утешая и уговаривая бежал. Я боролся со злом в себе и жизни, которое означает их, а ты продал ему душу и жизнь до конца. Оттого и горишь в огне боли, отчаяния и пустоты.**

**Риччо. (*поднимая потрясенный взгляд)* Дьвол!.. Или великий мудрец, устами которого говорит божественная истина… Всё так, ты прав. В душе и жизни пустота… Адская. Становящаяся отчаянием и болью, силу которых уже не могут заглушить даже пинты вина, дурного или хорошего, о задах молодых шлюх я и не говорю… тошнит меня от них, от всей этой грязи… Как впрочем не может заглушить всё это разума и правды порождаемого им чувства, что страшна, уродлива и дурна, от дьявола, а не от Господа прожитая мной до ныне жизнь, солидная и полная уважения и денег, полезных дел, служения обласканным Папой и Святой Церковью богачам… О адская и проклятая жизнь, которая от дьявола, а не от бога, и я буду кричать об этом, не боясь сгореть на костре!.. По крайней мере, пока надо мною властвует вино, а вместе с ним – правда и разум, победившие ложь трезвых будней… Грязь страстей, в которых я топлю отчаяние и боль, разум и истерзанную душу, ибо они говорят мне правду, блекнет по силе перед адской пустотой и преступной грязью моей обычной и достойной жизни, всех дел и постыдных ролей, столь завидных многим, которые ее наполняют… В этом последнем – главная правда. Это я вижу правдой сейчас и в похожие мгновения. А когда начинаются утро и за ним обычный день, полный праведных забот во имя Господа и богатства герцога Строцци – всё это кажется мне уже сном или ложью, уходит куда-то в глубины души… Пока вновь не наступает, не всплывает и не сжигает меня вместе со мраком ночи… И тогда я иду сюда или в какое-то похожее место и пью… бывает – глушу отчаяние и облегчаю боль и муку пустоты, глядящей в лицо правды достаточно, чтобы продолжить жить в адской лжи, такую жизнь по прежнему влачить, словно зло она дьявольское и бремя… А иногда напротив – сгораю в муках словно до конца, но тихо… подобно свече, что целую ночь дарила свет. И тогда нечего делать, нет утешенья и спасения, быть может только перестать страдать и броситься на шпагу, как древний Марк Антоний насадил себя на меч, с достоинством погибнуть и отправиться в ад, ибо страдать и мучаться так – низко, нестерпимо…**

**Караваджо. (*самому себе*) Во мраке истины не менее, чем в свете. Я знаю это кажется бесконечность лет. А может и не так – божественная истина света и духа себя являет через мрак и ад казалось бы последней бездны мук и пустоты, заполнившего душу отчаяния… И в этом загадка непостижимая…**

**Риччо. А ты, как я слышал, сделать себя холуем святош и служащих им писак не дал… Страдал, боролся и не колеблясь дрался чуть ли не с целым миром, но право быть собой завоевал и ныне – легендарный гений, за кистью и свободными минутами которого гоняются с новенькими скудо и дублонами! Что же… Лишний повод высказать тебе уважение! (*со смесью отчаяния, горечи и суровости к себе*) Скажи художник Караваджо, великий гений древней, подарившей бесконечные плоды и тайны итальянской земли – что это значит? Что значит это всё? Что требует? Зачем и по какому праву, в издевку или же с умыслом губит? Всё эти муки, мрак бесконечной, словно застлавшей жизнь и мир пустоты, проникший в душу яд отчаяния – что говорят они? За что казнят меня и судят хуже, чем святой огонь еретиков? От дьявола они или от бога? Ложь в них или правда? Должен ли я глушить их или же пытаться постигнуть их страшную, черную и подобную разрытой могиле мудрость, идти ее дорогой? Они расплата, суд, пути наука или искушенье сатанинское? За что меня, как и тебя настигли с ранних пор, но надо мной глумятся и властвуют, празднуют победу, тобою же, словно Змий Святым Георгием повержены? Что сделал я за жизнь не так? В чем же вина моя перед Богом, если живу я по законам созданного Им мира и Святой Церкви, плоть от плоти того?! И как спастись, увидеть свет, почувствовать надежду и дорогу? Пусть даже не дорогу, но еле видную и твердую тропку, к ней ведущую? (*глухо, жалобно и с отчаянием*) Скажи, ведь знаешь… Ведь ты знаешь?..**

**Караваджо. (*словно* *полностью отрезвевший, вцепившись в Риччо не только взглядом, но и умом, а потому – чуть перегнувшись к нему через стол*) Оставь меня, мой дар и все мои дублоны, коих вовсе не так много… Но будь еще меньше – мне было бы всё так же наплевать… И сам я ныне гоняюсь за вдохновением и ответом на вопросы больше, чем заказы и слава за мною… (*после паузы и глухо, но с необыкновенным волением и подъемом*) Пожалуй знаю! Да так уверенно, что подобно тому человеку готов буду ради этой истины взойти на костер… Пока же надо просто не пощадить себя, сжечь себя или умереть над растянутым холстом, но высказать ее в Матфее, ибо я кажется увидел ответ, нашел… Господь был милостив! (*к Риччо, видя, что тот не понимает*) Да, мрак и огонь отчаяния целиком казалось бы властвуют над тобой, но света и правды господних в тебе теперь гораздо больше, чем было тогда, каким я тебя запомнил… я даже поражен… Отчаяние и боль привели тебя к бездне, но делают мудрым и человечным, близким к Господу… И верь, более многих иных. Всегда шел Иисус, Сын Божий к нищим духом, к полным в их душах муки и отчаяния, ибо видел в них высшую правду Царствия Небесного, отблеск мира «горнего» и сам его голос.**

**Риччо. Это как?..**

**Караваджо. (*возбужденно и чуть лукаво*) Загадка, да?.. Отчаяние с болью вроде б зло, а делают человеком и побуждают им стать… Краем бездны, грозящим погубить, предстанут чувство и мрак застелившей всё вокруг пустоты, но лишь движимый ими, человек способен прийти к новой, истинной и человечной, близкой к Господу жизни, осененной созиданием и любовью, бесконечностью возможностей и свершений… Вот-вот!.. Не одного тебя она поражает… Свет побеждает мрак трудом, любовью и борьбой. Во власти мрака кричит о себе отчаянием и болью, себя обнаруживает и выходит к пути, на котором быть может восторжествует. Страданием во мраке мира и житейской грязи раскроет себя – и должен вырваться из мрака и его власти, чтобы не погибнуть, не обречь на гибель того, в ком засиял и подал голос. А мрак отчаяния, пустоты и боли в душе – лишь отблеск истины поруганного и павшего во власти мира света. Греха не совершишь – неведомой останется и чистота Господняя в душе, которую не предать. А предашь ее, содеяв грех и подчиняясь власти мира, быть может говорящей от имени господнего добра – познаешь в боли и желании броситься на шпагу, что этого себе нельзя позволить. (*констатируя*) Да, не зря игра света и мрака была для меня с ранних лет дорогой в полотнах…**

**Риччо. (*искренне, отчаянно и жалобно*) Я не пойму тебя, художник Караваджо, хоть шкурой чувствую, что прав ты и говоришь нечто верное и важное.**

**Караваджо. Жаль. Ибо слова эти о тебе и сути мучающих тебя вопросов и бед.**

**Риччо. Скажи яснее.**

**Караваджо. Куда ж яснее-то, Анна-Мария в панталонах и при шпаге? Впрочем, непонимание это лишь лживость, к которой по прежнему принуждает страх. Ума достаточно тут, хоть нет душевной крепости и силы… Однако, страха перед выбором и решимостью на него, уходящей равно в свет и мрак неведомого дорогой свободы – больше.**

**Риччо. И всё же. Я прошу. Я страдаю и не отказывай мне, будь милосерден. Пусть не вера и крест на груди побудят тебя к этому, так простое человеческое сочувствие.**

**Караваджо. А стоишь ты сочувствия, имеешь право на него?**

**Риччо. (*с гневом и неожиданной силой*) Я человек!**

**Караваджо. (*задумчиво, продолжая пристально и цепко глядеть*) Хорошо, что хотя бы костер отчаяния и боли заставил вспомнить тебя об этом… Что же! Я буду милосерден. Святой Апостол Матфей, бывший до Призвания мытарем, просит меня об этом. Дух и господний свет в человеке требуют не только Призвания, обнажающего путь, по которому человек должен решиться пойти… где поверх мук и испытаний, суждено ему обрести свободу и надежду, просто спастись... Им нужны прощение и любовь. А в тебе сейчас говорят искорки человека и Господа… (*с напором*) Лишь отчаяние, мрак и власть пустоты ты видишь ныне в себе и вокруг… в самой собственной жизни, вправду подлой, порабощенной миром и его химерами, тонущей в его грязи. А я вижу божественный свет духа и любви, который страдает во лжи и темнице мира и так в голос кричит об этом. (*самому себе*) О да, в страданиях твоих я вижу божью правду духа, света и любви, которые пали и томятся, скованы до удушья и криков отчаяния во лжи и аду мира... В той поглощенной властью мира жизни, которую, трус и раб, влачишь ты с молодости, не осмеливаясь искать и что-то переменить! Мне ли не понимать и не чувствовать этого… *(к Риччо*) Свет духа и любви, его горькая истина льются потоком мрака, отчаяния и боли в твоей душе, так непонятных тебе мук. Страдаешь ты и полон отчаяния, ощущаешь пустоту и мрак посреди обычной, цветущей радостями и полной справедливых забот жизни, то есть там, где вон они, гляди на вечных, неисправимых и довольных собой скотов, не чувствуют и тени горестей, не то чтобы пылающих отчаянием и болью раздумий. И будучи таким же скотом, быть может даже большим, скотом из скотов, ибо мошна твоя полна дублонами и скудо, шпага смертельна, а подкрепленная титулом хозяина власть велика, ты страдаешь и отвергаешь этот завидный многим удел, мучаешься им вплоть до готовности погибнуть и спасаешься лишь пинтами вина, пролитыми на изъеденную язвами душу. А значит, что еще и человек… можешь быть им, если только осмелишься, решишься что-то переменить. И что этот человек, дух человеческий, в любом заложенный божественною искрой, но рождающийся в адских, ныне ведомых тебе муках лишь в редком, в тебе страдает и жаждет вырваться из цепей, ибо враждебна ему жизнь, которую ты рабски и трусливо влачишь. Заговорил в тебе, хотя молчит и словно сном могильным спит во многих, в большинстве. Отчаянно и подводя на край бездны кричит ныне, хоть издавна быть может подавал голос, который ты душил и не желал слушать, в трусости рабской убегая от пути и обязательств перед собой и самим Господом… *(после паузы*, *со сдержанным гневом и саркастической горечью*) Вон, взгляни на них *(бросает жест в сторону остальных посетителей, спокойно пирующих вокруг и обычно возящейся возле стола и очага Анны-Марии*) Заговори дух и господний свет теми же муками с ними – подобно тебе, пусть даже понимая суть и правду, будут пытаться бежать, а не бороться, искать пути и выход из горнила страданий и вопросов, в которое рухнули. И потому людьми и подлинными детьми божьими так и не станут, в людей не превратятся. Так будь собой и человеком, найди на это мужество, решимость! Силу и готовность страдать, совершить выбор и поменять что-то… (*Риччо вновь вперяется пустым и отчаянным взглядом в дублоны на столе, словно видит в них плаху*) Во многом прав ты… в главном только нет. От бога жизнь и всё, таящееся в ней. От дьявола – лишь та, которую ты ведешь, хоть кажется она вполне обычной, освященной самим Господом, справедливостью и безысходностью бремени людских забот, очевидностью властвующих над душами людей химер и их неизменными из века в век нравами. О, жизнь может быть иной – мой путь послужит пусть тебе примером. Да и других примеров видел в жизни ты немало, конечно, просто не видел их, не понимал и не различал, был слеп. А боль, которая жжет тебя и ставит на край гибели требует, чтобы она была иной, будучи твоею, не чьей-нибудь. Боль и отчаяние, чувство пустоты, застывшие у тебя в плечах, понурой голове и вот еще в этом взгляде, изо дня ко дню жгущие жизнь и заливаемые вином – единственное, что есть в тебе от человека ныне… но зато безошибочное…**

***Риччо словно бы перестал слышать и понимать слова Караваджо, превратился в один, пронизанный пустотой и отчаянием, упертый в золотые дублоны на столе взгляд.***

**Караваджо. (*К хозяйке трактира*) Подойди! (*Анна-Мария подходит, но не произносит ни слова, остановленная властным жестом Караваджо*) Привычна ты набивать мавританским кускусом бараньи потроха, стирать простыни, на которых перед этим хорошо поработали шлюхи и заниматься множеством подобных добрых дел, я знаю! Но подумай, вдруг сыщется где-нибудь в чулане господним чудным случаем небольшой картон и что-то, чем можно писать по нему (*Анна-Мария уходит, а Риччо, ничего не говоря, вновь пьет и после продолжает пустым и отчаянным взглядом упираться в дублоны*)**

**Караваджо. *(самому себе*) За жизнь не сделал я ни одного эскиза. Этот будет первым. Но упустить подобное нельзя. Разыщет только пусть курица клочок бумаги письменной, холста или картона, хоть что-нибудь… и поскорее, о черт! (*к Риччо*) Страдаешь ты, живя обычной, серой жизнью, при этом полной разных радостей и грязи, которая бывает душам даже сладостнее остального, завидной же – вообще несметному количеству людей. И это значит, что инаков ты по сути, другой жизнью должен жить. А главное – решиться должен. Другая суть твоя жаждет и требует другого. Так услышь же наконец-то отчаяние и муку пустоты, которые тебе говорят об этом! И перестань быть трусом и предавать самого себя, дай себе настоящему свободу и право быть, вырвавшись из ада, который почему-то, словно в издевку, называют «жизнью» и «божьим миром»… и привычны делать так кажется со времен Творения! Дух и любовь в тебе страдают и исходят отчаянием, ненавистью к жизни, ибо задушены, погребены в аду и темнице мира, житейской грязи, а жизнь, тобою влачимая, вправду на это обрекает и не оставляет ничего иного. Так услышь же их и самого себя, решись на это! Решись что-то изменить и жить иначе, или же в этих отвратительных муках погибнешь…**

**Анна-Мария. (*вновь* *подходя к их столу и по привычке заигрывая, ибо за столом сидят мужчины, невольно и очень сильно возбуждающие ее всю жизнь главным – оригинальностью и умением по разному вызывать страх*) Любезные синьоры, не желаете ли к вину дичь под мавританским соусом?.. *(на ухо Караваджо*) Мы ищем.**

 ***Караваджо кивает, не желая отвлекаться, а Риччо поднимает взгляд.***

**Риччо. (*спокойно и* *веско*) Уйди!**

 ***Анна-Мария надувшись ретируется*, *а взгляд Риччо вновь обращается к золоту.***

**Караваджо. *(задумчиво с наставительной суровостью и твердостью* *продолжая*) Духу и любви, свету господнему в человеке нет места в мире, и вынуждены они испокон веков добывать его в отчаянной борьбе, вопреки судьбе, козням лжи и торжествующего под миной привычных и законных вещей зла, цепям нужды и рабству у обстоятельств… В тебе они есть более, чем во многих иных… И с большей силой требуют свободы, задушенные лживой, подлой жизнью, которую ты трусливо и рабски, подчиняясь власти мира влачишь уже столько лет. А потому страдают и болью в душе, сжигающей тебя мукой отчаяния, чувством отвратительности и пустоты жизни и самых обычных вещей вокруг говорят с тобой, требуют что-то изменить, решиться на это, бороться… отвергнуть химеры, которым ты трусливо и по рабски приносил в жертву жизнь до этих дней. Ты же глядишь в лицо этим химерам, словно воплощению всего, что порабощает и мучит, губит тебя, с самим собой и собственной, погрязшей в рабстве и лжи жизнью судишься и ведешь спор, но ничего не решаешь и не меняешь, выбора не делаешь... Совершить выбор, которого голосом отчаяния требуют от тебя свет Господень в человеке, дух и любовь, жаждущая разорвать путы жизни и судьбы свобода, не осмеливаешься… (*сдерживаясь, поэтому даже немного сдавленно и глухо, но необыкновенно напряженно и возбужденно, словно выливая настигшие мысли*) Мытарь Матфей, услышав призыв Господа, словно враз разглядевшего и постигшего суть его души и мук, бросил на стол золото, отверг всю прежнюю, тонувшую в грязи, рабстве и пустоте жизнь, совершил выбор и пошел жить иначе, служить Господу и любви, истине духа и свободы! И так из раба и мучимого грязью жизни и отчаянием ничтожества, стал истинным человеком, Святым Евангелистом и Апостолом. Обрел обновление, а вместе с ним свободу и спасение, свет надежды и самого себя. Услышал призыв Господа, вырвал себя решимостью и совершенным выбором из рабства у мира, во зле и грязи которого пропадал и страдал душой, прошел с Господом по пути и после принял жертвенную смерть, но так обрел свободу и спасение, свет и надежду посреди мук, стал истинным человеком. Тем, чем был задуман и создан, мог и был должен. Обрел спасение и свет, свободу и надежду, стал человеком и собой лишь потому, что решился и сумел обновить жизнь, вырвал ее из грязи, лжи и зла, в которых она тонула… пошел по полному испытаний пути, который к этому ведет. Дал этим свету, который был внутри него, страдал и кричал отчаянием, задушенный ложью и злом мира, прийти в его деяния и жизнь. А ты, понимая себя, суть мук в собственной душе и жизни, страшащего и тяжкого выбора, который должен совершить, ибо лишь он может освободить и спасти – колеблешься, малодушничаешь и всё никак не решишься, словно сомневаешься и думаешь: «сделать или нет?» Смотришь в эти дублоны словно в лицо и самую суть зла, которое поработило и с давних пор топит в муках твою жизнь, губит тебя и сжигает в отчаянии, судишь себя и с собою споришь, зная правду, но что-то поменять не решаешься. Раб, который мучается в кандалах, обращает вопли боли и отчаяния к небесам или топит их вине, словно не зная ответа, но не способен сделать выбор и освободить себя, пройти на этом пути, что будет отпущено… На это в трусости, низости и слабости души не осмеливается. Глядит в лицо кандалам и губящей его муке, но освободить и спасти себя не решается, ибо страшно… Мытарь Матфей бросил на стол золото, потому что совершил выбор и пошел за Господом, в простом деянии отверг прежнюю жизнь. А ты ныне глядишь на это золото как на мучителя и палача, суть и причину всех своих страданий, но словно цепляешься за него и возможность остаться в рабстве, ибо рабство надежнее. Кажется – зная правду, оставляешь себе в мыслях лазейку, возможность вновь сбежать и не сделать должного, что боль и отчаяние требуют от тебя, угрожая погубить… (*самому себе* *на мгновение и внезапно, потрясенный*) О боже, я же словами уже пишу полотно… да найдет ли она когда-нибудь кусок картона?! (*к Риччо*) Сам ты всё понимаешь, Риччо Франделли, лощенный грабитель в камзоле за сотню скудо, который не снился даже графам из старинных родов, мажущий его в дешевом вине и чаду захудалого кабака… Обласканный герцогской симпатией насильник и убийца, в котором гибнет, страдая и исходя мукой, дух человеческий и господний свет…**

 ***Риччо отрывает на мгновение полный муки взгляд и устремляет его на Караваджо***

**Караваджо. (*сурово*) Мытарь Матфей бросил на стол золото, которое добывал кровью и злом, оббирая нищих, словами услышав призыв Господа. А ты слышишь призыв Господа и света Его, света любви и духа, свободы и спасения давно, говорит он с тобой адом пустоты и отчаяния, лицом объявшего душу и жизнь мрака. Оттого точно так же бросил сегодня на стол золото словно само лицо той драмы и муки, пусть страшной и угрожающей гибелью, но ведущей к свободе дилеммы, которая разрывает твою душу и жизнь. Глядишь в него, словно в суть собственных мук и бед. Только вот обновить жизнь, впустить в нее свободу и свет, ту чистоту и любовь, которая в тебе от Господа – не решаешься. А всё зависит лишь от этого, знай…**

**Риччо. *(по прежнему, словно в зеркало, приговор или сковавшие его кандалы, уперев взгляд в брошенное на столе золото*). Я раб, художник Караваджо, ты прав и в этом. Я раб и трус. Я раб страха. Умеющий заставить подчиняться и дрожать от страха сотни людей, я сам раб страха перед главным. Я с молодости мучался, боявшись глядеть в лицо правде, постигать ее горькую мудрость и идти за ее голосом, это так. Я раб и трус, но еще и предатель, Караваджо, ведь ты не знаешь… Я не стал бы, наверное, подобным тебе великим мастером... Но достойный живописец выйти из меня мог, о этом говорили исписанные мною в детстве картоны и стены отцовского дома. Я испугался, сбежал от тягот, мук труда и глядящих в неведомое поисков, которыми на этом пути нужно и неотвратимо суждено изойти… (*устало, с неспособной вспыхнуть огнем яростью и горечью*) От презрения и плевков свиней вокруг, которые извечно ценят в жизни грязные радости и деньги, возможность с наслаждением и как можно больше использовать вместе с нею то и другое, а в человеке уважают лишь добытую злом и подлостью возможность этого да еще умение вызвать страх, но никак не способность с любовью и чистотой души что-нибудь создать. Я испугался, сбежал, предал… В ту самую пору, когда мог стать художником, а страх надежду на это и дарованную Господом возможность погубил! Жизнь еще расстилалась впереди в равной мере волнующей далью, бездной возможностей и тяжких задач, а страх, который я почитал тогда постигнутой мудростью, всё это на моих ослепших глазах губил. И погубил… (*глядит на Караваджо с отчаянием и чуть ли не жалобно и ребячески*) Вплоть до адской боли в душе, которая сейчас, в надежде на спасение, заставляет слушать тебя, а не приколоть как моль шпагой к двери… Это правда. (*даже после конца тирады продолжает упирать опустошенный и излучающий отчаяние взгляд в дублоны на столе*)**

**Караваджо. (*с раскрытыми глазами и подобно кинжалу цепким взглядом, потрясенный*) Вот и ответ… В трусости ты предал то, что в тебе и любом человеке есть Господь. Ты должен был трудом, решимостью и борьбой, без которой ничего не дается, силой духа и любви, однажды совершенным выбором служить этому. А ты предал, покорился удушливой веревке мира и судьбы… власти лжи и мрака, которая есть мир. И сейчас, на краю бездны это, человеческое и господнее, кричит в тебе болью и отчаянием, заполнившим тебя целиком чувством пустоты и подлости твоей жизни, которая и впрямь такова, а ты просто осмелился страдающей душой и умом признать правду. Дух и любовь вложил в тебя Господь, способность силой любви созидать. И так, именно этим, а не одним лишь умением добывать хлеб, молиться в церквях и вместе с толпой подобных кричать «сожги!», ненавидеть и покоряться – сделал человеком. И служа этому трудом и борьбой, решимостью и выбором, ты должен был человеком стать. А ты предал себя.**

**Анна-Мария. (*возвращаясь вместе небольшим картоном, на который наверняка ставили плохо оттертые от сажи котлы*) Вот, другого нет, синьор Микеле… а писать нечем.**

**Караваджо. (*вполголоса*) Дай мне выпавший из камина и остывший уголек, помельче и поострее (*получив его и начиная писать, самому себе, вполголоса, но в необыкновенном волнении и возбуждении*) Лишь схватить главное из предстоящего глазам и родившихся мыслей, остальное потом… О боже, истина жизни, глядящей прямо в лицо… Истина линий тела, в которые уперся взгляд… Эта поникшая между опущенных и ослабевших плеч голова, а взгляд! Он главное… Суждено ему стать образом вечной, страшной и бездонной истины, в которой словно бы вся судьба человека и чуть ли не самого мира! И не удивлюсь, если он перекочует в чьи-нибудь полотна, вместе со всем другим… Всё это зеркало и голос его души сейчас, настигших его в судьбе и жизни мук, в которых вечная и главная истина, именно так! Господь Иисус и Святой Петр наверное станут там… Оттуда Господь призовет его… (*Делает возбужденные, широкие, но очень сильные и четкие штрихи углем, при этом постоянно словно бы соотнося трактирный зал с тем, что пишет*) А отсюда, сверху, словно символ Призвания и раскрывшейся перед мытарем надежды и свободы, польется свет, конечно же!.. (*продолжает писать, хватать главное на картоне*) Вот оно, золото… Вечный и обольстительный символ мира… рабства и грязи, в которых гибнет и томится, исходит мукой человеческий дух… Вот цепи твоей жизни и то, чему она приносится в жертву. Вот мучитель, властвующий над тобой и губящий тебя… Вот лицо твоего рабства, ибо рабство и страх – причина обуревающих тебя мук! Ты боялся, как я, скитаться и голодать, заслуживать оскорбительные плевки и насмешки, борясь за главное… подчинился… продал и предал себя, сбежал трусливо от полной чуда, мук и свершений дороги… Рабски продавшись страху, считал себя выбравшим дорогу правильную и очевидную… А что теперь есть у тебя? Лишь ад пустоты, которую скорее всего не победить, ставшей костром отчаяния и боли в душе… И всё это тебя вероятно погубит, ибо Господа и человека в тебе более, чем в других, неспособных чувствовать даже печали там, где ты пылаешь адской мукой отчаяния, а разрешить эту муку будет трудно…**

**Риччо. (*оторвав взгляд на мгновение от дублонов*) Что ты там бормочешь и пишешь на грязном картоне? Постеснялся бы...**

**Караваджо. (*не отвлекаясь*) Пишу я мысли, которые, видишь ли, так важны, что позволить им исчезнуть, словно чувству счастья или утреннему туману нелья, великий грех перед Господом…**

**Риччо. (*со злобой поверх отчаянной и опустошенной усталости*) Да что ты мелешь мне? Ты же рисуешь что-то!..**

**Караваджо. Именно так всю жизнь я и записываю мысли, которыми Господь наградил меня, дав понять что-то важное в жизни, судьбе человека и окружающем мире.**

***Риччо словно отмахивается, вновь свесив ослабшую голову между отчаявшихся и словно впитавших из его души пустоту плеч, обратив взгляд к золоту.***

**Караваджо. (*продолжая писать и самому себе*) Знай Риччо, трусливый и по справедливости страдающий раб – чтобы обрести свет и свободу, спасение и надежду, благо в душе поверх всех возможных мук и испытаний, должно встать и пойти, последовав призыву Господа, как Апостол Матфей… даже если говорит Господь мраком и отчаянием в душе, адом боли… Обновить жизнь и отвергнуть невзирая на цену то, что душило и губило, порабощало ее, казалось непреодолимым и единственно возможным… Совершить выбор, встать на путь свободы и духа и пойти по нему, что бы это не значило и не несло… Цена тяжка, а путь как правило тернист… полон ям и падений, грозящих гибелью не меньше, чем надежное рабство у мрака и грязи, хоть муку от него до поры до времени и можно залить вином… Способен ли ты? Способен ли стать и быть человеком, ибо нельзя никак иначе и лишь так проложил Господь загадкой Его воли и задумки этот путь?..**

 ***Караваджо замолкает и продолжает писать углем на картоне, а Риччо словно этого не замечает и продолжает сидеть в пьяном опустошении, неотрывно глядя на золото… Так это длится какое-то время, после же устало успокаивается и сам Караваджо, видимо сумев схватить на куске картона всё, что хотел.***

**Риччо. (*опять* *внезапно словно бы пробуждаясь или выходя из оцепенения*) Так что же ты мне скажешь, Караваджо… великий живописец и смутьян, пьянчуга и наглец, который терзает умы людей и оскорбляет их души, чтобы очеловечить их и сделать ближе к Господу? В чем суть моих мук, где и в чем выход из них? Что мне делать? Убиться, бросившись на шпагу? Плюнуть герцогу Строцци в лицо и приняв насмешки целого Рима, прожив пол жизни, уйти подобно тебе в скитания и неизвестность, в смутные попытки и поиски, которые непонятно чем закончатся? И ничего быть может не обрести и не достигнуть, но зато обеднеть и стать посмешищем для скотов, ныне дрожащих передо мной и в страхе, с миной или же искренне уважающих меня, ибо со мной золото, власть и покровительство сильных, которое я обменял на рабство? Что делать? Ведь часто кажется, что нету больше сил...**

**Караваджо. Лишь то, что уже сказал. За светом должно решиться пойти, отыскав для этого силы и мужество. Лишен ты в темнице мира, лживой и подлой, пускай при этом вполне обычной жизни возможности быть самим собой… права быть тем, чем можешь и должен… *(с раздражением*) Свет и Господь – в человеке, в духе и любви его, в мире же дано и правит совсем иное… что за дьявольское отродье, словно в истине когда-то убедило тебя в противоположном? Рабство и трусость обрекли тебя на это прежде чего-то другого… Так освободи себя, узнавший те же человечные, самим Господом отпущенные и уготованные муки, которые некогда побудили Иисуса разглядеть в мытаре Левии Матфее будущего Апостола и Святого Евангелиста, должного служить Ему, сказать тому «встань и иди за мной!» И станешь тем же, чем мытарь Матфей – истинным человеком. Еще не бывало в мире и в веках, чтобы человек становился человеком иначе, этих мук миновав… избегнув одной адской, но великой муки, в которую, вместе с пробуждением в нем духа и Господа, любви и света, душевной чистоты, неумолимо превращается вся его жизнь. Решись, найди силу встать на путь и пойти, даже если тебе кажется, что ты бросаешься в мрачную бездну неведомого и почва уходит из под ног! Этот путь зовется быть самим собой, быть человеком и истинным дитям божьим, он в равной мере полон мук, терзаний и спасения. И пройти его, обретя смысл, спасение и свет, надежду – вместо бездны отчаяния и пустоты, способен лишь тот, кто решиться на него встать. Ведь не думаешь же ты и вправду, что создан человеком, стал им и близок к Господу одним лишь тем, что научился добывать хлеб и выживать в аду мира, для этого рабски подчиняясь, мучая кого-то и предавая кажется последнее, привыкнув оправдывать такое и еще худшее зло истинами ученых мужей, будь они церковники или еретики? Решись же что-то изменить, живи иначе, пока еще есть время и надежды! Узнать ты должен обновление судьбы и вместе с ним – ее очищение, приближение к господнему и человеческому. Решай, ищи, меняй! Борись. Ты знаешь правду. Боль жгучая в душе и отчаяние тебе ее раскрыли, обнажив в тебе человека. А выбор и решение – твои. Быть или погибнуть, познать свободу, свет и смысл, либо продолжить влачить во мраке и низких муках кандалы подлой жизни, хоть может быть она вполне привычна, стать человеком, а не по прежнему быть лишь трусливым рабом и ничтожеством – всё в них. Свободен ты, решаешь… должен решать… и лишь решение и выбор сделают тебя тем или этим. Да ты, застынув взглядом на проклятых монетах, кажется и сам это понимаешь… Взгляни туда, вверх… Что видишь?**

**Риччо. (*с трудом отрывая глаза от монет на столе, изумленно и раздраженно*) Как что? Закопченный очагом и мрачный, как моя душа, угол потолка… в нем балок-то почти и не разглядеть.**

**Караваджо. Представь, что там окно, из которого полился луч света, похожий на луч надежды и смысла, указывающий тебе спасительную дорогу и врачующий по справедливости истерзанную, страдающую душу? Сумел?**

**Риччо. (*с сарказмом во взгляде и тоне*) Хотя бы. Ну и что?**

**Караваджо. Так вот знай, что луч этот света, ведущий к свободе, смыслу и спасению, благу в сердце, которое пересилит любые испытания и муки – в решении и выборе твоем, в борьбе, труде безжалостном над жизнью и собой… в огне и силе любви, которая на труд такой делает способным. В решимости на обновление… В умении рвать путы и безжалостно отвергнуть то, что еще вчера казалось привычной жизнью, единственно возможным для тебя. «Богу или мамоне» – не слыхал? Разве не учил тебя кардинал Сантинелли, духовник хозяина Евангелию? (*С горечью и твердой убежденностью*) Это церковники впрочем любят забывать. Мир духа, любви и господнего света в человеке и тот ад лжи, грязи, привычной и праведной подлости, который зовем мы обычной человеческой жизнью или же иначе – «сим миром», проклятой и вечно коснеющей во зле данностью жизни и судьбы, глядящей то грудой золота, то мукой на лице бедняка или суровостью в глазах хозяина, то обезумевшей во власти крови и спаянной ненавистью толпой рабов на площади, никогда друг друга понять не сумеют. У них разные правды, знай это *(сурово*) Одно или другое. Отчаяние и боль, край адской бездны в душе должны были убедить тебя в этом, а спасение обращено к тебе самому. Свет зовет тебя, быть может, а услышать его, решиться и выбрать пойти к нему, чего бы не стоило, можешь лишь ты сам. Свет свободы, спасения и надежды требует от тебя выбора, решимости переменить судьбу и жизнь… бросить не просто золото, от которого ты, как я вижу, так и не можешь оторваться не только взглядом, но и душой, а лживую, тонущую в грязи и зле жизнь, служением ему и прочим химерам порабощенную. Вместо тебя этого не сделает никто. Вот истина твоей боли, которая может спасти тебя. (*более самому себе*) Вот истина, которую ты сегодня вновь дал мне увидеть не только в жизни, а еще и в с детства знакомой истории Святого Евангелия, на первый взгляд как будто простой… Вот истина, которая застынет в полотнах капеллы, если только Господь благословит мою руку так же, как ум и вдохновение этим вечером. Я всё сказал с любовью и прощаясь. Как человек, убивший двоих и знавший бездну мрака и отчаяния, но борьбой и трудом научившийся идти по дороге света и любви.**

***Караваджо встает и начинает собираться, а Риччо, не сказав ни слова в ответ и вообще будто забыв о нем, вновь вперяет пустой и отчаянный взгляд в дублоны.***

**Караваджо. Скорей писать, домой… скорее же! Плевать на вступающую в права ночь! Растянуть холст и начать… «Призвание Святого Матфея» уже не просто родилось во мне, раскрылось целостной и ясной, кажется бездонной мыслью! Я его вижу, оно рождается из моей души на свет… (*хватая и сворачивая исписанный углем картон)* Вон, уже показалась даже крохотная ножка чада, которое разорвет мне душу и грудь, погубит меня, если я не подарю ему жизнь, не выпущу его на волю и в мир! Ведь призвано оно родиться в мир, чтоб до скончания веков напоминать – божий он и может быть полон светом, а не только мраком и адской издевкой лжи, пошлости и пустоты… обыкновенного в его обличии зла… Скорее же, ибо и «Мученичество Святого Матфея» кажется уже тоже показалось на горизонте ума и бьет ножкой в живот, словно я роженица! (*бросает напоследок взгляд на Риччо*) Со Святым Апостолом Матфеем известно, что было… мы знаем, как решилась вечная драма… А вот что будет с этим, чем завершатся дело, все муки и борьба в его душе и жизни? Признаюсь, я испытываю тревогу, ибо не знаю ответа на этот вопрос… Он даже стал дорог мне этим вечером (*уходит*)**

**Анна-Мария. (*с боязливым уважением, но по привычке заигрывая и непроизвольно покручивая бедрами*) Дон Риччо, что-нибудь желаете?**

**Риччо. Еще вина, конечно… вдосталь. (*самому себе*) Ибо ответ, который он указал мне, быть может и верен, но душе моей и плечам тот скорее всего не вынести… ничего уже не изменить и не переделать. А значит – суждено мучиться и заживо гореть в адском огне. И значит – только пить. Прятать в тумане вина разум, боль и вину… мрак и пустоту, которые из жизни уже никогда не уйдут. Сколько хватит сил в колотящемся сердце. А дальше…**

**Анна-Мария. Ну вот, он и вас сумел сильно расстроить. Сам мучается вечно и не дает покоя другим. А я вот всему и всегда рада, особых горестей не знаю. (*после паузы*) А что это он там вам рассказывал про льющийся из под потолка свет и прочее?**

**Риччо. (*внимательно поглядев на нее*) Да так… чепуха и пьяный бред… Он ведь тоже выпил сегодня немало, оттого и молол какую-то чушь… Не стоит твоего внимания, неувядающая прелестница.**

**Анна-Мария. (*ободренная, а потому – с возбуждением и желанием поделиться давними мыслями*) Вот-вот! Я знаю его многие годы и испытываю к нему симпатию, но говоря откровенно – хоть он и великий художник, но по моему часто бывает не в себе.**

**Риччо. *(с внезапной яростью*) Сгинь, дура! Ступай, неси вина! *Анна-Мария в испуге исчезает*. (*после паузы, самому себе*) Два разговора наших за жизнь было… Тот я помню, будто он был вчера. Запомню до конца дней и этот. Тогда я наседал на Караваджо, прозябающего в бездомности, нищенстве и плевках скотов, пропадающего на дороге судьбы и вполне возможно – обреченного погибнуть… Звал идти служить ко мне и к Строцци, издевался над его муками и нищенством и пытался показать, что вполне возможно станут они безысходными, ибо кто знает, сумеет ли создать и утвердить себя в мире талант. Старался убедить его, что выбранная мной жизнь надежнее и правильней, а потому – немедленно оставь глупости, скитающийся и нищий художник, иди жить как я, со мною по дороге шагай! Словно в истине пути, убеждал его в подлой слепоте страха. А на деле лишь отчаянно, чувствуя где-то в душе колебания и трусливо пряча от них глаза, самого себя пытался убедить, что это истина и жизнь моя, как и совершенный выбор, правильна и на другом пути ожидает и грозит лишь гибель. И вот, вторая наша встреча... Костлявая подлость страха обнажила ее истинное лицо и глядит теперь смертью, бездной и настигающей безысходными муками гибелью… Ибо хоть руки мои сильны и тверды, кошель трещит от дублонов, а дорога жизни залита пусть не светом, но уважением и страхом подобных мне рабов, душа полна муками, которые погубят меня… Обречен погибнуть я, а он стал великим и в любом случае, что бы не ждало его – победил. (*поднимает глаза в темный и закопченный угол потолка*) И даже сейчас я, раб и трус, не осмелюсь пойти по дороге спасительного света, которую он с такой силой воображения нарисовал передо мной… Вправду великий художник! Расцветший в великом философе и человеке…**

 ***Анна-Мария наконец-то подносит к столу Риччо из погреба вино***

**Риччо. (*кричит, обращаясь ко всем*) Эй, достойные синьоры, пожалуйте ко мне! Мы будем пить и восхвалять друг друга, тонучи в грязи и мраке – желать друг другу здравия, радости и долгих лет! Гибнуть и продавать душу мраку и Вельзевулу надо с радостью, весело! И мы будем делать это сегодня именно так, ибо всю жизнь занимаемся этим скучно! (*срывает с пояса кошель и высыпает из него остальные дублоны, которые превращаются в кучу*) Давайте же пить, трусливые рабы мрака, сияющего золотом и китайским шелком для рубах, лживые слепцы, вдохновленные в их грехах истинами аббатов и кардиналов – все вместе и за мой счет, не тревожьтесь! Дон Риккардо Франделли, главный раб и порученец герцога Строцци, ваш благодетель и палач, привыкший оббирать или убивать во славу и процветание великого герцога, сегодня милостив и угощает на весь кошель, на пятьдесят чертовых испанских дублонов, за которые иная нищая девчушка проживет спокойно год и выучит ремесло, не ставши шлюхой! Я милостив и угощаю, ибо трусливый раб и скот, который продал душу Вельзевулу, рядящемуся в очевидные блага и гомон церквей, во власть несомненных забот и истин, и немало в этом преуспел, я хочу чувствовать себя сегодня человеком и не желаю пить один! Вы найдете во мне этим вечером брата, а не хозяина ваших кошельков и часто жизней! Давайте пить!..**

***Толпа достойных посетителей обступает Риччо и трактир пускается в красочную и злачную пирушку, одну из тех, что глядят с полотен эпохи…***

 **Акт III.**

***Рим, июль 1602 года. Пьяцца делла Ротонда, площадь перед древним Пантеоном, глубокая и полная свежести ночь при полной луне. Ночное небо на Римом совершенно чисто и лунный свет заливает всё, ему доступное. Караваджо сидит, прислонившись к стене дома, чуть вверх от Пантеона, пьет вино.***

**Караваджо. О, свет римской луны, давний друг и учитель!.. Сколько ты рассказал мне мудрых вещей… Как глубоко ты понимал меня, когда сердца даже искренних друзей оставались закрытыми и глухими… Пожалуй, лишь с тобой да непроглядным мраком безлуния я до конца нахожу понимание… (*с наслаждением и неторопливо пьет*) Льешься ты сегодня спокойно, могуче и ровно, заполняя мир… Словно истина, которая торжествует и уже ничему и никогда не позволит ниспровергнуть, задушить себя… Словно любовь, которая сквозь все муки и в борьбе победила, сколько вообще дано ей и силам духа человеческого торжествовать над судьбой и миром… Символ борьбы, которая завершилась несомненной и нерушимой победой и глядит с высоты той гордо, спокойно и уверенно, ибо уже никогда ее плодам не изчезнуть и не стать опровергнутыми, а вдохновлявшее ее, сшибавшееся с властью судьбы, тонувшее и гибнувшее во мраке и аду мира, всё же восторжествовало… Льешься посреди мрака, сверкая и победно торжествуя над ним… И сегодня этим как никогда говоришь со мной, понятен мне и отзываешься в душе, знавшей многое, ибо сам я, годами тонувший во мраке и кознях судьбы, кажется победил… По крайней мере – так чувствую… И быть может, впервые за целую жизнь ласкаю, но не терзаю душу вином… пою им свет, а не зашедшийся в пляске мрак… О как же удивительно, загадочно и со смыслом свет и мрак переплетены в человеке, в его судьбе!.. Любовь и творящая сила духа торжествуют там, где прежде бесновалось отчаяние. Полная созидания и горения любви, великих свершений жизнь расцветает и утверждает себя там же, где разверзалась бездна и человек глядел в лицо гибели, аду непонятных и кажущихся неразрешимыми мук. Свобода от Господа и творит, раскрывает бесконечность дарованных им человеку возможностей и сил, но при этом же проклинает, становится горьким и полным мук и бед бременем, словно палачом наделенного ею, в ком горит и бунтует, чего-то требует. Приближает к Господу и заветам Его, но обрекает насмерть сшибаться с миром, в котором от Его имени, под гомон колоколов и блеск куполов на соборах, творится адское зло, а благочестиво крестящаяся толпа кричит «сожги!» и радуется смерти человека, верного Ему жизнью и сутью более многих. Делает человеком, но обрекает на муки и яростную, чреватую гибелью схватку с миром, где торжествуют мрак и ложь, а «божьим» называют то, что говорящий через любовь и чистую душу Господь заставляет ощутить злом, чаще похожим поэтому на привычный, обыкновенный и словно только и должный быть ад. Запутывает жизнь и дорогу человека, подчас оказывается такими лабиринтами судьбы, что чувствуешь – суждено погибнуть. А всё же – если хватит у человека мужества и сил быть ей верным и пройти ею отпущенное, выводит на собственную, осененную победами дорогу, которой суждено остаться навсегда, сохраниться в памяти… Сплетены свет и мрак, две вечных сущности в человеке, в судьбе и пути его, быть может – в самом мире… сошлись в смертельных объятиях и слиты подчас нераздельно, а бывает – ясно и яростно противостоят друг другу, как в этой сегодняшней, залитой полнолунием, чистой контурами и неба римской ночи... И во многих моих полотнах, особенно в последних… Сила любви дарит удивительные свершения, но торжествует любовь в отчаянной, смертельной борьбе и вопреки адскому уделу лжи, мрака и рабства, на который обрекает мир. А потому – именно в отчаянной, смертельной борьбе с миром и обстоятельствами судьбы, которая далеко не всегда кончается победой…**

***Стражники, делающие обход, появляются из мрака переулка, ведущего к палаццо Фиренце***

**Первый стражник. (*почтительно, но с оттенком укоризны и словно наставляя ребенка*) Синьор Караваджо, опять вы пьете и разговариваете сам с собой под окном хозяина гостиницы.**

**Второй стражник. Тот снова будет жаловаться, смотрите!**

**Третий стражник. И почему именно здесь, а? Неужто вино слаще, а Святой Город красивее здесь более, чем в куче других мест?**

**Первый стражник. Не проводить ли вас домой, синьор Караваджо? Мы поможем, если вы опять выпили столько, что обессилили и не можете.**

**Караваджо. (*грубо, но спокойно, шутливо и потому не обидно*) Подите вы к дьяволу, который не оставляет вас без работы! Мне хорошо сегодня, я спокоен в душе и счастлив, что бывает редко… Свет луны и божественных истин, вместе с вином ласкает мне душу, так не мешайте ему!.. *(повышая голос и с особенной внятностью*) И пусть идет к дьяволу сквалыга хозяин!**

 ***Стражники раскланиваются и прощаются.***

**Первый стражник. С тех времен, когда мы первый раз отводили его на арест в Сан-Анджело, он не слишком-то поменялся. Хоть бывал с тех пор в Замке и под заточением не раз!**

**Второй стражник. Да, но только теперь его без очень серьезного повода не тронь! Сумел подняться, обласкан богачами и не только! Вы слыхали, что дон Риччо в последнее время с таким уважением отзывается о нем повсюду, что даже если и захочешь выполнить папские законы и будешь иметь причины – четыре раза подумаешь. Ведь квестор то может и не узнает, а вот дон Риччо – узнает точно.**

**Третий стражник. А гнева дона Риччо, который стал ныне кажется не просто шпагой, но еще руками и головой герцога Строции, лучше не знать! Идемте, черт с ним… Всё равно, пока сам не захочет, не встанет и не пойдет!**

**Второй стражник. (*бурча*). Дьявол и так всегда с ним. Такое о его полотнах услышишь всё чаще…**

 ***Уходят.***

**Караваджо. (*продолжая*) Окунешься во мрак отчаяния – узнаешь, что требуют свобода и любовь, господняя чистота в душе… Ощутишь с отчаянием, гневом и болью пляску ада и мрака в том, что есть мир, в вершащемся в нем от имени Господа и Святого Учения – станешь близок Господнему Учению и свету, ибо само оно есть свет совести, свободы и любви, а не что-то иное, не амвоны и соборы с распятиями на крышах… (*задумчиво*) Впрочем, хоть говорятся в соборах и творятся под ними подчас ужасные и не божьи вещи, я конечно же люблю их, ибо полны они красоты, любовью и жаждой красоты, силой чистоты Господней в душе и стремления к свету созданы… Путь хоть они иногда напоминают, что есть вера, которая в них и от имени Святой Церкви часто превращается в кандалы для духа и смрадное болото лжи и крови... Отчаяние сожжет и поставит на край бездны, но лишь укажет этим, что дух и любовь в человеке томятся, гибнут в аду и темнице мира, в рабстве у житейской подлости и грязи… И кто знает – быть может приведет человека к свободе, заставит решиться на обновление и выбор, найти для этого мужество. Об этом я сказал в Матфее, как и всегда – сумев найти мысль для благочестивого сюжета в тайнах и драмах самой предстоящей глазам жизни, в ее познании… Вот, сегодня поставлена точка… Матфей прошел путь томимого отчаянием мытаря и злодея, который решился переменить жизнь и быть человеком, обрел свободу, стал Святым Апостолом, возлюбленным учеником и дитям Господа, призванным нести Его учение, принял жертвенную смерть и обрел вечность. Полотно с «Ангелом, шепчущим Матфею», принято святыми отцами и водружено на стене капеллы… Всякий, если хватит ума и Господа в душе, пусть же учит из жития Апостола Матфея, заговорившего рукой живописца Караваджо и поучительной историей римского злодея Риччо Франделли, что есть человек и чем должен быть его путь, в чем суть драмы его духа, свободы и судьбы... Два предыдущих сделали мне такую славу, что от заказов отбоя нет и я могу работать, вдохновенно и сгорая, не зная покоя. Ощущая, что кисть моя совершенна, а метод ясен и утвердил себя. В собственной мастерской, под потрясенные и глубокие взгляды трех отличных учеников, в отличии от Марио, который, как я слышал, пишет много, но банально, умеющих понять и постичь мое искусство. И оттого счастлив… А что, вправду, еще нужно для счастья? Лишь это да еще чувство, что победил… А оно нерушимо и наполняет меня. Еще очень много зла в судьбе моей может случиться, я знаю и предчувствую… Но несмотря на это, я уже сделал, сумел создать нечто необыкновенное, воплотившее талант и искания многих лет, силу любви и света… И труд, конечно же, который был столь жертвенен и сжигал целиком так, что если бы не созидал и рождал он прекрасное, великое, даря душе небывалую радость, то вполне можно было бы сравнить его с муками ада… Я очень многое еще могу и хочу сделать, бесчисленные образы картин мерцают, а нередко вообще горят в душе, что доведется совершить – знать не могу, но уже сумел настоящее и огромное… невероятное самому же себе… Что заставит идти за тенью моей жизни и живописи вечно, сохранит их в памяти, вдохновит множество благородных, искренних и ищущих умов, талантливых рук и жаждущих красоты и истины душ. Дано мне ныне видеть это в моих полотнах, которые не просто мастерством, а силой чувств и загадочной глубиной мыслей способны потрясти. (*смеется*) А ведь очень многие не поняли «Призвания»… Побоялись понять, ибо увидели обвинение и приговор, проклятие вещам, которые в привычности и вечной нужности их, подобной кандалам или удушливой, губительной темнице, благословляемы Святой Церковью и правдой мира, на страже которой она стоит испокон веков ревностно! Словно взглянули в зеркало их лживых и трусливых душонок, даже с молитвами, воскресными причастием и прочим далеких от Господа и речи Его, которая извечно обращена болью, адом и мраком чувств и жаждой обновления и света, освобождения из кандалов мирской, житейской грязи… (*задумывается*) Однако же, так много важного сумел я сказать, вложить в линии и игру мрака и света, а сделал это столь вдохновенно, что любой испытывал потрясение и ощущал там это, пусть даже его уму недоступное, манящее загадкой. (*продолжая*) Я вижу это в потрясении и увлеченности моих учеников… В стремлении подражать мне и непроизвольно что-то от меня перенимать даже тех, кто меня открыто поносит и отвергает… Я до сих пор не признан Академией, но стал властителем умов гораздо большим, нежели ее почитаемые персоны… И уверенность, что властвовать умами и вкусами я буду долго, справедлива и нерушима во мне. Я может завтра пропаду, не сделав бесконечности вещей, которые могу и задумал, а стремлюсь так, что словно гибну на алтаре порывов, да… Но я уже написал те полные обретений и тайн, раскрывшего себя таланта и выражения пережитого полотна, которые значимы и верю – имени, искусству и жизни художника Караваджо, Микеле Меризи, еще помнящего себя мальчиком и не верящего, что уже прошел быть может большую часть пути, исчезнуть не дадут. И это дает покой, уверенность и чувство счастья, силы… такие, что подчас кажется взлетишь, настолько ими полон. Я нынче полон сил души и духа, они лишь разгораются в работе. Телесных сил тоже вдосталь, ибо слава богу, отдаваясь полотнам, я более не терзаюсь водоворотом бесконечных житейских мук, сытно ем и хорошо сплю, имею вдосталь времени работать, а не отчаянно ловлю его крупицы. Об одном молюсь – работать и рождать полотна, постигнутый мной метод воплощать в них, сколь можно более. Отвергните меня завтра публичным поношением и проклятием церкви, погубите этим или иными кознями, как пытались за жизнь множество раз – я всё равно уже победил, ибо состоялся и создал чудесное. Я мог пропасть в нищенстве и бездомности, в отверженности мудрецами живописи, жрецами заскорузлого ума и отживших свое вкусов… Грозило мне поэтому не состояться, не пережить в труде и борьбе бесчисленных обретений и свершений, не создать. А я, что бы не ждало далее и даже предчувствуя беды, уже победил. И потому пью сегодня от чувства счастья, сливаюсь мыслями и душой с лунным светом, расстворяюсь с душевным миром и покоем в божественно прекрасном мгновении… И одно только – работать, свершать… увековечивать такие мгновения в созданном силой труда, дара божьего и любви, борьбы и поисков, к душе подчас безжалостных…**

 **Картина II.**

**Куртизанка Элен, она же очень давно девочка Мирелла. (*незаметно подойдя к Караваджо из темноты переулка*) Эй, синьор художник, да ты кажется опять грустен сегодня и оттого пьешь? А не хочешь ли, что бы прекрасная Элен сумела принести тебе немного радости?**

**Караваджо. (*словно очнувшись или упав с высот прекрасной мечты*) Кто то дьявольское отродье, которое смело разрушить и оскорбить чудо мгновения, в которое я счастлив?**

**Элен. (*не обижаясь, шутливо и с тонами издевки*) Ах, так ты сегодня счастлив… Что же прости! В тоске привыкли видеть мы тебя… Но не желаешь ли, чтоб счастье твое моими усилиями стало еще полнее, превратилось в совершенное?**

**Караваджо. Кто ты, каркающая в римском мраке ворона, чудовище из болота житейских страстей, чтоб сметь спорить за право дарить счастье с благом лунного света, покоем души и загадками творчества, которые до конца не способен постигнуть даже тот, кто словно одержимый бесом или в огне горящий, созидает?.. Счастье мое было полным, пока я не услыхал твоего голоса…**

**Элен. Свет луны сегодня особенно силен. Так взгляни же как следует и убедись, что я вовсе не чудовище и дарить счастье умею. Работа моя поэтому – делать счастливым… хоть на мгновение, но всё же…**

**Караваджо. (*поворачивая голову*) Забвение ды даришь, грязь забвенья, что кажется поэзией и красотой природной страсти. И даришь тем скотам, которым счастье – именно забвенье, а не труд, борьба, свершенья в ней, что побеждают смерть, да те чудесные ее плоды, в которые сам не веришь, хоть по праву их обрел. Я видывал тебе подобных много, отыскивая вдохновение и искры истины и света там, где более всего надежды – среди грязи... Но ныне – сгинь.**

**Элен. (*подходя к Караваджо почти вплотную*) И всё-таки взгляни…**

**Караваджо. Смотри-ка, и впрямь собою недурна… О бедрах нету повода судить в полночном мраке, но лицо по своему красиво… Когда-то бывшее чрезмерно простоватым, грубым, оно с годами обрело благородство черт и не испорчено пока жизнью в угаре страстей… Однако, осталось совсем немного… год, два или три, быть может… И станешь ты лицом и обликом тем же, что есть по сути – ведьмой, которую сожрали страсти и ад живущего страстями мира. И облик вещи, в отличие от многих иных случаев, единым с ее сутью станет, не обманывая… Я вспоминаю, что много лет назад видал девчушку с простоватой прелестью лица, которой предрекал стать шлюхой… Она скорей всего и стала, ибо пророчество начало сбываться на моих собственных глазах. Я жаловаться на это не должен, ибо, как всегда бывает, через последовавшие тогда неприятности обрел нечто, в моей судьбе важнейшее, но о ее судьбе заранее скорблю… Не ты ли это, случаем?..**

**Элен. (*задумчиво*) Поди знай… Стала феей счастья я и вправду рано, ибо была бедна… но утверждать наверняка мне не позволит память… да и не важно! Но что дурного дарить счастье и радость, став словно бы их древней богиней?.. О чем тут скорбеть?..**

**Караваджо. Шлюха ты, что словно вытереть руки после обильной еды, позволяет пользоваться собой, дабы дать скотам забыться, заглушить боль их душ и умов, которой говорит Господь, называя «радостями любви», подобно животу в нужнике облегчаемую похоть… А ослабни или же оставь их похоть с властью лет – отчаянно гонятся за ее тенью, ибо иначе не забыться… с пути господнего и человеческого, ото всех уготованных на нем страданий не сбежать… И так бегут, пока не настигнет суд…**

**Элен. (*опешив и робко*) Божий?**

**Караваджо. *(задумчиво*) Быть может – божий… Однако, если господнего суда нет, а есть лишь мрак бесконечной пустоты, подобной бездне – еще худший… У божьего суда еще возможно вымолишь прощенье, есть надежда – это говорят, даже костром Святой Церкви и Инквизиции сжигая праведников и пророков. Напоследок, чтобы не страшились. У суда же конца, лицо которого бездонная, вечная и глядящая мраком пустота – нет… он безжалостен, надежд не оставляет и судит хуже ада… Там, где ничего нет… нет самого тебя, не может быть и жалости, конечно… И нет… Похуже нет, верь мне, чем среди чертей в аду, которые укладывают грешника на сковородку (*увлекаясь как обычно мыслью*) И не быть тебя, знай же, вполне может не только после смерти, а еще и при жизни, пока ты жив и вроде б есть… О чем-то думаешь и печешься, бывает – в заботы и нужду ныряя с головой, пусть даже не по доброй воле, крадешь и трудишься для этого… в меру или же без меры, чтоб быть не хуже других, подличаешь и мучаешь, кого прикажут… торгуешь, покупаешь и продаешь, ждешь смерти и гнусно прожигаешь жизнь среди привычных декораций и ради вполне очевидных истин, совокупляешься с восторгом и множишь несомненно достойный род… И вроде бы так, по трезвому и здравому взгляду есть… Даже похож на человека… особенно – если считать людьми копошащуюся во мраке обычного и светлого дня массу мучных червей, покорно и кажется вполне довольно радеющих о привычных, не терпящих пререканий заботах… А вот для подлинного ума, который эта масса всегда сочтет безумием или злом, часто и впрямь на зло и ад похожего – словно нет тебя… Ага..! Вроде б жив ты, о чем говорят водоворот забот и повседневных бед, которые наваливаются нередко бесконечным потоком, требуют борьбы и отбирают, жгут кажется последние силы… поступки и сонм непременно положенных жизнью, почитаемых за добрые и полезные дела гнусностей, совершаемых тобой, а по сути и взаправду – заживо мертв… Да, умер заживо и погребен в мрачной, холодной темнице или же могиле, которой для тебя настоящего стали жизнь и судьба, такие привычные взгляду… обычные и полные злачных радостей… как у копошащейся массы вокруг… Ибо не можешь быть собой, в кандалах мира и подлой, изуродованной миром жизни лишен на это права… И хоть жив и есть, дышишь и желаешь жрать, готов и согласен добыть себе кусок послаще пусть даже самой адской подлостью – сумеют убедить, что она лишь благодеяние и добродетель, настоящего тебя, жаждущего в жизни смысла и света, свободы и господней чистоты, вечности и памяти, а не мрака забвения и пустоты, словно бы нет… Да – нет, ибо такому тебе в жизни не оставлено места и права быть… Потому что сама она целиком поглощена адом, который называют «божий мир», отдана ему в часто непреодолимое рабство… И вот тогда, если ты жив и есть, но словно бы заживо умер и обречен собой не быть, вынужден адом мира быть не собой, губить и предавать себя – взвоешь от отчаяния и боли в душе, считая их дьявольскими кознями, станешь топить их в вине, бросив перед глазами золото и словно пропав в нем взглядом, но не решаясь разорвать путы… (*всматриваясь в нее*) Вот если бы в тебе, шлюхе и вещи для грязных нужд, вдруг проснулась женщина, которая в любой из вас похожа на Богоматерь и последнюю рафаэлевскую Мадонну, ты бы поняла, о чем речь… (*со смехом и меняя тему, ибо* *видит по лицу девушки, что пугает ее*) Однако, как же сталось так, что меня ты знаешь, а я лица твоего не припомню?.. Ведь я частенько шлялся среди римских развалин, где подобные тебе феи ищут мотыльков для приносящих доход ночных утех?**

**Элен. (*зардевшись и оскорбленно*) Я не из тех, да разве ты не видишь?! Я не из дешевых уличных потаскушек, рот и нравы которых бывают гораздо грязнее и хуже орудия их работы! Себя ценить и беречь я умею, научилась… хватило ума! Я одна из самых дорогих римских куртизанок, которые дарят счастье епископам и кардиналам, услаждают мгновения графам и приносят радость хозяевам флотилий, банков и немыслимых, не снившихся тебе доходов! Я фея счастья и любви, которую умеют уважать и ценить – словами и золотыми испанскими дублонами. Да напиши хоть тысячу полотен – у тебя не хватит денег заплатить за изысканную и благородную радость, которую я захотела подарить тебе быть может даром, просто из симпатии… ибо кто же на римских улицах, на папертях церквей, в смердящих закоулках и ночлежках для нищих не знает великого художника Караваджо?..**

**Караваджо. (*вдумчиво и пристально вглядываясь в нее в несколько мгновений*) Быть дорогой и натираемой воском вещью лучше, достойнее и благостней для души, нежели обычной утварью, которую разбить не жалко, коли приключилось так? Ты открываешь мне новые грани жизни и истины… Однако, отчего же ты не в роскошной зале какого-нибудь римского дома, как и положено в этот час фее любви? Не это ли самое время дарить счастье?**

**Элен. (*сконфужено и более конфиденциально, полушепотом*) Случилась неприятность, хотя должна была быть ночь любви и радостей. У монсиньора флорентийского кардинала сталась неожиданно колика в почках или какая-то иная, весьма серьезная хворь, ему поверь, теперь не до меня… И навряд ли я, привыкшая хранить здоровье мужских тел и душ, послужу его здоровью в этот вечер.**

**Караваджо. А запланированная, но не сбывшаяся радость зудит и требует своего, да? И я кажусь тебе для этого подходящим?**

**Элен. Ты только прикоснись ко мне, попробуй то, что так бросает в дрожь видавших виды – и познаешь бездну вдохновения…**

**Караваджо. (*сурово и презрительно*) Да как ты смеешь думать, шлюха, дорогая и сшитая из хорошей ткани подстилка для графских задов, что Микеле Меризи, которого в этом чертовом городе уже десять лет знают как художника Караваджо, любящего обнажить шпагу пьяницу и смутьяна-скитальца, оскорбит собственное достоинство, прикоснувшись к тебе?! Ступай, ищи капитана испанского галеона, который привез кофе, или какого-нибудь разорившегося неаполитанского графа – их достоинство и уважение к себе быть может не столь щепетильны!.. А впрочем – стой!.. А ну-ка, подойди поближе, совсем вплотную, чтобы в сиянии лунного света мог я увидеть цвет твоих глаз (*неожиданно воодушевляется и проводит рукой по ее лицу, после самому себе*) Красива… еще в общем-то молодая девушка, но грязь заставила что-то почувствовать и повзрослеть, не состарив лица… Она наверное и была такой обликом – Чистая и Непорочная Дева… Одно ведь всегда в другом. Одно борется с другим. Свет с мраком сходятся в битве, а подчас наоборот – сплетаются в смертельных и неразрывных объятиях. Быть может, эта тоже жаждет света и чистоты, просто пока не понимает, а покаяние и возрождение терпеливы… А чем не шутит черт, возможно это то, что так нужно!.. (*снова к Элен*) Знаешь, использовать тебя и вправду можно, только несколько иначе, необычно… И я, кажется, вправду хочу и собираюсь это сделать…**

**Элен. (*зардевшись, озадаченно и строго одновременно*) Эй, смени-ка аллюр!.. Смотри, пострел – отнекивался лишь пол минуты назад, а сейчас пошел в атаку кавалеристской лавой, подавай ему изюминку с выворотом! Я на такое не соглашаюсь или беру отдельную плату, немалую…**

**Караваджо. (*свирипея в момент*) А ну заткнись! Какая дура, Господи! Да ты с таким умом и ртом недостойна работать даже возле древних развалин, как тебя только епископы с графами терпят?**

**Элен. (*обидевшись и надувшись)* Им-то как раз это милее всех высоких тем в разговорах!**

**Караваджо. Я не граф и не герцог, хоть служил мой отец великому миланскому герцогу Сфорца всю жизнь. Я художник, то есть рода гораздо более знатного, у которого графы и герцоги, торговцы кофе и банкиры, вся прочая людская нечисть ходят в служках и так зарабатывают на вечную жизнь! А потому, коли хочешь проводить со мною время, с радостью и обоюдной пользой, остерегись в дальнейшем…**

**Элен. Так что ж ты хочешь?**

**Караваджо. (*задумчиво вглядываясь и еще раз проводя по ее лицу рукой, вбирая глазами и чувствами черты*) Ты понимаешь, какая вещь… Святые отцы из Трастевере как раз сегодня, вдохновившись моим последним Матфеем, которому ангел шепчет на ухо о тайнах мира, заказали мне уснувшую вечным сном Мадонну, Богоматерь-Деву… А ты на удивление подходишь образу Мадонны, как я его уже давненько вижу… Ты станешь ею, если дашь себя написать и будешь слушаться меня!**

**Элен. (*опешившая, потрясенная и с сарказмом)* Я – Мадонна, Святая и Пречистая Богоматерь-Дева?! Я же шлюха! Причем с тех лет, когда Мадонна играла в куклы в отчем доме! Ты сбрендил верно от вина и разных тягот… Я поняла бы – Магдалена!.. Святой отец во время нашей прошлой ночи что-то мне рассказывал о ней, да только я не слишком уяснила, не к месту было, и не до того…**

**Караваджо. (*с воодушевлением и еще большим убеждением*) Одно, дитя мое, как учат ум и опыт, совсем не противоречит другому! Ведь и ты была когда-то девой, чистой душой и телом. Свет и чистота, павшие во власти мира, станут образом Пречистой Девы, которая принесла в мир свет спасения и надежды, уснувшей вечным сном, пройдя отмеренный ей путь. Так жизненней и глубже, чем у Рафаэля! Так больше правды – святой и христианской в первую очередь. Написать Мадонну обычной женщиной, в которой дышат жизнь и человеческие чувства, прошедшей непростой и горький путь, почившей с миром, вознесясь навечно к Престолу и оставив скорбь в сердцах ближних – я мечтаю и думаю об этом давно! Людские чувства в облике святых сильны необычайно, просветляют в вере и наставляют ей – настоящей, живущей в человеке силой духа, светом любви и свободы. А ты подходишь, верь мне, как никто иная, ведь не с развратной же курицы Анны-Марии или подобной ей, достойной и замужней шлюхи, не ведающей горестей и чувства греха, писать Богоматерь! И не безликую же и безжизненную, способную лишь рассмешить чистоту писать мне в ней, как велит вековой канон! Я и не смог бы так, ибо правдивее и глубже… в вере… в самой своей человеческой сути… Мир должно познавать, каков он есть, во всей правде – знай, это ничуть не противоречит вере! Она святая, глубже и истиннее того, что ею преподносят кардиналы и аббаты, а потому – в отличие от учения Церкви нерушима. Любовь и дух торжествуют над бездной отчаяния. Свет льется поверх мрака и там, где мрак прежде правил бал и бесновался вовсю. Совесть и нравственная чистота, Господь просыпаются в душе того, кто ведал грех и этим, вплоть до боли и отчаяния осквернил их. Дух и свобода раскрывают себя в боли и на краю бездны, на идущей через торжествующий мрак отчаяния и пустоты дороге, называемой жизнь. Разглядеть в шлюхе Богоматерь, поруганный и униженный человеческий дух – вот это задача по мне, близкая душе Караваджо и достойная его кисти! Равно как и написать шлюху Богоматерью с такой правдой чувства и веры, проникновения душой в святой сюжет, чтобы людские сердца рвались на части. Правда жизни, пусть горькая, чтоб стала правдой святой веры и ее мудрости... Так ты идешь со мной?**

**Элен. (*потрясенная и со смесью сильных и сложных чувств*) Куда? В твою судьбу?..**

**Караваджо. Ох же курица! Домой ко мне, душевная дурешка, в которой мир сгубил пока еще не всё! В мою мастерскую, где славно и уже не менее, чем два часа, храпят три отличных и талантливых моих ученика! Живу я и работаю неподалеку…**

**Элен. (*взволнованно и нарочито еще раз спрашивая, словно не поняла*) Зачем?**

**Караваджо. (*свирепея*) Писать с тебя Мадонну! Святую Богоматерь-Деву, всеобщую заступницу, способную отмолить у Господа, Отца и Сына даже тех, кто с радостными криками и по закону жгут живьем свободу! Так хочешь или нет?**

**Элен. (*всё так же, кажется понапрасну продолжая повторять, словно желая в чем-то убедиться, проверить слова Караваджо или разъярить его до последней меры*) Я – Мадонна? Во мне, с четырнадцати лет шлюхе, которая научилась удовлетворять извращенные мужские желания, давать себя использовать как вещь, самой при этом умея вытянуть из негодяя все соки и деньги, не жалея ни чувств, ни смущения и боли его, в душе которой грязи больше, чем в лоне уличной потаскухи из окрестностей Театра Марчелло, ты увидел Богоматерь-Деву, осененную Святым Духом и приведшую в мир Спасителя и Сына Божьего? (*наступая на него и чуть не припирая к стене дома*) Во мне, дрянной стерве и суке, для которой всё «ничто» – жизнь, совесть и Господь, другие люди и она сама, ты разглядел Мадонну? Во мне, которая давно не чувствует даже боли и унижения, ибо душа вещи стала камнем или засохшим, окаменевшим сгустком грязи, которому неведомы человеческие чувства, желает лишь использовать и выместить в меру сил на ком-то слабом ей самой причиненное зло? Во мне, в которой зла и подлости больше, чем в уличном убийце, отнимающем жизнь за треть той платы, взамен которой я дарю любовь и наслаждение страсти? (*кричит*) Во мне ты, мечтательный безумец и жалкий пьянчуга, разглядел Деву Марию? Во мне?!**

**Караваджо. (*вопреки ожидаемому не свирепея и не отвешивая ей пощечину, а с таким же напором и возбуждением убеждая ее*) О, ты не понимаешь, не хочешь или просто не способна взять в толк! Вот именно в тебе – дуреха молодая, изувеченная грязью мира, сука, стерва, шлюха и человек, отблеск Богоматери и господнего света одновременно! В тебе, падшей и поруганной миром и властью страстей, ставшей жертвой их и неумолимой жестокости судьбы, в используемой вещи, таятся человек и Богоматерь, великая и неповторимая ценность, дух человеческий, который Бог вложил в любого, но просыпающийся вместе с бесноватой пляской мрака, потоком света, очищающей болью покаяния и силой любви лишь в редком! Всё это может расцвести в тебе быть может больше, чем в ком-то ином, адские грехи и подлость жизни которого тщательно упрятаны под минами святости, вполне обычной и праведной по меркам жизни, всегда сотканной из таких грехов, благословляющих их и делающих законом химер и молитв в церквях, где грехи оправдываются или становятся богоугодными поступками, а химеры преподносят истиной! Ведь не даром Господь Иисус шел с Его Истиною к нищим духом и падшим, выкинутым за борт благочестивой и респектабельной фарисейской жизни, которая во все времена одинакова, пусть даже правят не Закон Моисеев, а правила Отцов Церкви и бесчисленной вереницы кардиналов и аббатов! К шлюхам, убийцам и ворам! К жестоким мытарям, во имя служения злу мира и власти, грабящим бедняков ее волей и от имени ее нерушимого, грозящего расплатой за неповиновение закона! К падшим и изувеченным житейской грязью, обычностью страстей, порядков и забот, потребностей и правил, которые в их вечной и неоспоримой правде, страшной правде мира, в их нерушимой власти, называемой «нужда», есть зло, но глумятся над хрупкой, окутанной мраком и болью истиной духа, любви и господнего света в человеке! Да, к падшим, но страдающим и в боли или муках покаяния являющим свет духа и любви, который гибнет и томится в кандалах мира и обыкновенного, привычного взгляду и благословленного мерками толпы ада, в который превращаются в мире человеческая жизнь и судьба… К тем, кто живя по правде и законам мира, то есть вроде б правильно, во всецелом рабстве у мира сливаясь с толпой и заслуживая ее уважение и страх, право насилия и власти, чувствует себя преступником и грешником, страдает, хотя со всех мерок достоен и вызывает зависть! И лишь показывает так, что человек и должен жить иначе, нуждается в освобождении, дороге чистоты и света, покаяния… Другою жизнью должен жить, другою правдой, о которой другая, подлинная суть его кричит отчаяньем и болью, ибо задушена, поругана… погребена в темнице мира! А сама эта дорога различна с правдой и жизнью толпы, осеняющей себя знамениями веры – подчас страшно и трагически… В них, падших и страдающих, испытывающих чувство вины и муки покаяния, в отчаянии готовых погибнуть, он видел больше правды и господнего света духа и любви, чем в праведных и покорных законам толпы злодеях, довольных собой и жизнью, одинаковых во все времена… И неизменно, в страшной, адской правде мира и сплоченной толпы, ощущающих себя на стороне истины и света, близкими к Богу… (*вновь глядит в нее пристально и чуть завороженно, проводит ладонью по ее щеке*) В тебе человек и Святая Богоматерь-Дева, дух человеческий способны ощутить себя и проснуться быть может более, чем в иных, ибо очень уж страшно и низко ты пала, детка… Да, через очеловечивающий ад страдания и покаяния, которого, иной скажет, лучше и не знать, ибо не всегда найдешь выход и сумеешь обновить жизнь, но тем не менее… В тебе, взаправду шлюхе и стерве, грязи уличной и вещи, уже привыкшей к ее судьбе и даже научившейся купаться в той, извлекать сколь можно больше радости и пользы, как и в любом чаде божьем таятся человек, дух и любовь… Другими словами – то, что так привыкли видеть мы в образах Господа Иисуса и Матери Его, или Святых Апостолов, по пути Господнему пошедших… даже если не видим, понять и различить не способны… Рождаются они вот только в редком, это правда… ибо роды полны мук и вполне могут обернуться гибелью, а не новой подлинной жизнью, пришедшей в мир… Стать гибелью человека в человеке, а не его появлением в мир и торжеством на дороге совести и свободы, созидания и любви… Для образа Мадонны, проснется ли в тебе что-то человеческое, то есть господнее, или же продолжит торжествовать ад мира с его обаятельными масками, коленопреклоненными молитвами праведных и покорных негодяев, властной и страшной правдой нужды и страстей, ты в любом случае подходишь совершенно… Давно я, видишь ли, задумал написать шлюху Мадонной, чтобы застывшая так в образе Богоматери-Девы правда жизни, мира и познания, учила истинной вере, которая есть опыт покаяния, любви и созиданья, свободы и яростного сражения за чистоту души, норовящую словно туман сгинуть в объятьях мира, путь духа, где загадкой сплетены и борятся смертельно свет и мрак, а не прогнивший чад лжи и церковных догматов, скрученные в оковы распятия и костры, к которым в таких распятиях приводят. (*сурово*) В последний раз – ты хочешь или нет, идешь?**

**Элен. *(словно кошка, с искренней и неожиданной страстью души бросаясь к нему, пытаясь его вопреки всему поцеловать*) Ты разглядел во мне Мадонну? Увидел женщину и человека, у которого есть душа, а не вещь? Будешь писать меня Мадонной, а не шлюхой? О, я пойду с тобой, куда ты скажешь, пусть даже ты обеднеешь и станешь гоним и презираем всеми, или велишь мне бросится с тобою в пропасть! Ведь если бы ты только знал, чем чувствую себя, бывает, какою же адской болью горит душа из под улыбок, которые я научилась хранить на лице!..**

**Караваджо. (*раздраженно*) Отстань немедля! И пойдем, ибо час поздний, утром приниматься за работу, а криками и разговорами своими мы кажется и впрямь лишим сна хозяина этого «альберго»… Да так, что не миновать ему приступа мигрени… Что ж до души – вот-вот!.. Думай и слушай душу, глядишь – выберешься к чему-нибудь путному, а я в меру сил помогу… Однажды мир сгубил тебя и заставил пасть, ибо таков, а его власть и судьба человеческая в нем подчас необратимы… Я же, сколько дано силам, попытаюсь тебя спасти, возродить в тебе, воззвать к жизни то, что ты сама в себе не видишь и не знаешь… словно бы умершее и погибшее, но на деле жаждущее раскрыться и прийти в мир, пусть даже с муками… И попробуй только помешать мне спать ночью – зашибу ступой, в которой толку охру, она у меня из меди! И не дай бог лицо твое покажется мне в свете утра худшим, чем при благостном свете сегодняшней луны…**

 ***Уходят вверх по переулку, в сторону палаццо Фиренце*.**

 **Картина III**

***1604 год. Дом и мастерская Караваджо в центре Старого Рима. В зале внизу собрались Элен, часто теперь остающаяся у Караваджо и без нужд живописи, а так же три его ученика – Бартоломео Манфреди, Спада и Марио де Фьори. В центре хорошо освещенной залы стоит покрытое холстом полотно Караваджо «Успение Богородицы»***

**Элен. (*довольная кажется не то что жизнью и собой, а даже тенями на полу*) Друзья, откройте и давайте еще раз взглянем, полюбуемся, ну хоть минуту!..**

**Бартоломео. (*ласково*) Элен, нельзя, ведь ты же знаешь… Он не то что не любит, а сатанеет, если кто-нибудь, пускай даже самый близкий, смеет без его разрешения и присутствия прикасаться к полотнам… И уж сколько раз ты чуть ли не утыкалась в эту картину носом… Нет, не проси… Вот он вернется, даст бог скоро, тогда…**

**Элен. (*обвивая дружески шею сначала Бартоломео, а потом, поочередно, остальных*) Ну, прего, прего-прего, рагацци, друзья мои! Когда еще будет случай всё спокойно и в радость разглядеть, полюбоваться! С ним такое не выходит, вы же знаете… Он вечно недоволен собой и тем, чудесным, что совершают его руки!**

**Спада. Всё так Элен, и тем не менее…**

**Дель Фьори. Он заметит.**

**Элен. (*с воодушевлением бросаясь к нему*) Нет, не заметит! Я в точности запомню, как висело покрывало и спадали его складки, и потом всё верну обратно!**

**Бартоломео. Элен!.. Нет.**

**Элен. (*отходя в сторону и с почти детской обидой рассуждая*) Он вернется злой, кипящий гневом… через пару минут найдет повод впасть в ярость и устроить скандал, и после этого к нему уже с просьбой посмотреть не подойдешь, вы же знаете… Мне кажется, что чем дальше, тем он больше ненавидит картину со мной…**

 **Спада. (*согласно и понимающе переглядываясь с остальными*) Да, это правда, так… Однако не из-за того, что она с тобой, Элен… Он любит ее и тебя на ней… Просто она для него ныне, после двух лет, что ее отвергли заказчики из церкви в Трастевере и никто не хочет покупать – словно плевок в лицо или пощечина… Символ положения, какое оно есть… Ведь оно тебе не хуже, чем остальным известно… всех наших нынешних конфликтов со святой конгрегацией и не только…**

**Дель Фьори. (*с горькой улыбкой*) Если бы только нынешних…**

**Элен. *(на секунду охваченная печалью*) Да, известно… И я должна бы быть более озабоченной и грустной, ибо Микеле страдает… Но я не могу, хоть чувствую себя из-за этого виноватой! Я так счастлива тем, что он меня пишет и находит во мне вдохновение! Что я дарю ему если не любовь и ласку, то хотя бы вдохновение… застываю на полотнах, созданных его рукой, становлюсь предметом почитания у тех, кто прежде меня лишь мечтал затащить в кровать! Я всем этим так счастлива, что не могу печалиться… даже когда вижу, как разрывают боль и гнев его… *(вновь, кокетливо канюча и упрашивая*) Спада, ну пожалуйста!**

**Бартоломео. (*внезапно*) А ну и черт с ним, вправду – давайте полюбуемся!**

***Все четверо бросаются к пюпитру с полотном и замирают, вновь пораженные, когда Дель Фьори срывает покрывало.***

**Бартоломео. Гран Дио! Сколько раз смотрел на это чудо во время написания и после, знаю кажется здесь каждый мазок и блик тени или света, помню все исчезшие под красками контуры фигур, ибо переделывал он композицию раз пять, не меньше, и всё не могу не залиться восхищением в душе!**

**Спада. (*спокойно и с льющимся в глазах восторгом*) Да друг, ты прав… Счастье, что дон Микеле дал нам право наблюдать и постигать его гений рядом.**

**Дель Фьори. Ваши души художников полны восторгом. А моя душа христианина и зрителя полна болью и скорбью – той же, которой дышат лица и фигуры Святых Апостолов!**

**Бартоломео. А свет? Разве он менее дышит этой их скорбью и трагедией смерти Богоматери?**

**Спада. Да… Я более, если честно признаться, люблю те его, подобные «Положению во Гроб» или «Поцелую Иуды», где свет и мрак разведены предельно и сшибаются в смертельной схватке, как он любит говорить… Где свет – загадочная и непонятно откуда возникшая освещенность предметов, словно бы не затрагивающая сплошной мрак вокруг, но именно поэтому побеждающая его и прорывающая… Однако, в этом полотне, как и в Матфее свет чудесен… полон смысла и чувства, учит истине и вере, словно сам текст Святого Евангелия или проповедь одного из тех настоящих священников-теологов, которых так мало…**

**Элен. (*наконец-то сумев выйти из молчания и потрясенного оцепенения*) Я не могу понять и рассуждать как вы, друзья, но душа моя всякий раз при взгляде на картину потрясена и полнится всем – светом, скорбью, чистотой… кучей других вещей и чувств, которые я не понимаю, но властных, что-то требующих от меня… Я не могу поверить, что это я застыла вот, перед собственными глазами почившей Богоматерью… Так порой хочу стать похожей на нее чем-нибудь, какими-то добрыми и достойными, полными чистоты душевной делами… Только вот не знаю чем и могу это пока, лишь позируя ему, становясь ею в полотнах и его уме, ему хоть малой каплей помогая в священном пути и труде его… И пусть хотя бы так, пока… (*более самой себе, задумчиво и с тонами кокетства*) И всё же жаль, что он написал меня распластанной на кровати. Фигура кажется излишне полной и тяжелой, а лица почти не видно!**

 ***Раздаются шаги возле порога.***

**Спада. (*в нешуточном испуге*) О боже, это он!**

**Бартоломео. Скорей!**

***Все четверо успевают завесить обратно полотно прежде, чем Караваджо появлестя в отворенных им неспешно дверях залы.***

**Трое учеников. Приветствуем, Учитель!**

**Элен. (*бросаясь к нему)* Микеле!**

**Караваджо. *(останавливая ее на половине дороги, но спокойно*) Отстань!**

**Спада. Случилось что-то, учитель, что вы суровы сегодня даже с Элен?**

**Караваджо. (*не обращая внимания*) Смотрели эту чертову картину опять?**

 ***Все четверо испуганно переглядываются***

**Караваджо. (*даже немного обиженно*) Да что вы так дрожите во взглядах и душой? Мне какое дело? Смотрите, сколько влезет…**

**Спада. (*на ухо Бартоломео*) Ага, ну конечно…**

**Караваджо. (*продолжая*) Протрите хоть на ней глазами дыры, как зад и грубые стулья в кабаках неизменно делают дыры в панталонах (*свирипея потихоньку, но не теряя контроля над собой*). Разорвите ее на куски, облейте дегтем, спалите в очаге или зачадите рядом с ним так, чтобы достойным оставалось лишь ее выкинуть на помойку! Так быть может только не погубите ваш талант и дарованные Богом для служения ему судьбы! (*внезапно заходится в тяжелом кашле с кровью*)**

 ***Все четверо бросаются к нему***

**Элен. Микеле!!**

**Спада. Да что с вами, Учитель?!**

**Караваджо. Что что? К моему кашлю вы должны были, сдается мне, привыкнуть так же за последнее время, как к дурному нраву с самого начала или вот ее назойливому шепоту ночью, когда я гоню ее наверх, а ей желается остаться рядом с моим бурчащим во сне животом…**

**Бартоломео. Мы не о том… Что с вашею душой сегодня? Отчего вы злы так и одновременно спокойны? Отчего клянете в последнее время чудесное полотно, которое писали с любовью и трепетом веры в душе, и конечно же цените?**

**Караваджо. (*задумчиво, подойдя к полотну на пюпитре и скинув покрывало, заставив этим остальных еще раз зайтись в восхищении*) Два года… Почти что ровно два… Я продавал эту проклятую, полную мысли, зрелого искусства и душевного трепета мазню в пятнадцать раз дольше, чем писал ее, охваченный порывом и властью вдохновения, по истине способной погубить, разорвать душу и грудь..**

**Спада. (*радостно*)Так всё-таки ее, чудо чудесное купили, Учитель?**

**Бартоломео. Поздравляем!**

**Дель Фьори. Виват великому!**

**Караваджо. (*не обращая внимания, самому себе*) Два года… Два года я глядел в лицо собственному позору и унижению… ненависти мира, паствы и Церкви к тому, что для ума и души, сложившегося моего искусства свято… Взгляните на них, замерших в скорбных чувствах и мыслях, рыданиях… Взгляните на Богоматерь, почившую и застывшую в смертельном покое, хотя кажется лишь полчаса перед этим она была еще полна жизни и надежд. Шлюха с раскисшей от борьбы света и мрака душой позволила мне написать Богоматерь так… Взгляните на этот свет, в котором звучат мысли и полные скорбью и трагедией смерти души учеников Христовых. Какие чувства… Какая сила чувств (*вновь заводясь и сирипея*) Чье же сердце настолько подобно мамоне скота, что бы не ощутить это и всем этим не проникнуться, не разовраться от боли при взгляде на трагедию смерти и человеческой судьбы! Не проникнуться одним из главных сюжетов Святого Учения до самой своей глубины, которая в обычных днях, проклятых и полных грязью и мраком, словно неведома, не существует или умирает, засыпает мертвым сном, подобно самой Богоматери-Деве на полотне! (*начинает в ярости метаться по комнате и швырять разные, попадающиеся под глаза и руки вещи в разные стороны, грозя случайно угодить в полотно, которое остальные пытаются закрыть телами*) Я путь раскрыл, порвав себе душу и годами истязая ум, научившись писать святые сюжеты и персонажи их, словно картины из обычной жизни или простых людей, которые полны чувствами святых, то есть истинно человеческими чувствами! С загадкой научившись писать святых как людей, во всей правде проступающей и дышащей в них жизни, полных человеческими и подлинно от духа и чистоты господней чувствами, которые доступны в основном святым, а в сердца людские стучатся редко, ибо редко человек становится человеком и способен быть им! Достиг я этим такой силы религиозного чувства и сакральной правды в сюжетах, которая способна разорвать душу глядящему в мои полотна, содрогнуть его ум и дух, обратить его в подлинную веру – в опыт покаяния и любви, свободы и кричащей гневом чистоты совести, а не в полную грязи, сладости и подлости ложь, которой называют обычно этим словом в церквях с амвонов! Я нарушаю этим канон, возвышенное и лживое слюнтяйство, которым ложь только и способна убедить и оставить души в рабстве у нее, но так учу вере подлинной, которую заповедал Христос, сам тою веруя! Учу тех, кто не желает учиться, ибо хочет и нуждается оставаться в рабстве слепоты и лжи… удобных, избавляющих от мук свободы и совести, горечи любви… И теплых, словно зад уличной шлюхи или прогнившее и медленно губящее человека болото… Кто не содрогнется душой от крика Иоанна перед настигшей Христа судьбой в «Поцелуе Иуды»? Кто не испытает бега мурашек по коже, глядя в «Положении во Гроб» на восторжествовавший на короткие мгновения мрак мира, рабства и подлости людских, обычно орудующих от имени Бога? От скорби на лице Мадонны – пожилой женщины, которую я однажды встретил в Сан-Пьетро возле микеланджеловской Пьеты, она ставила под той свечку в поминовение погибшего в неаполитанском мятеже сына? От горестного плача Магдалены и Святой Екатерины, которых я написал с двух чудеснейших, красивых и полных самой отвратительной правды грязи шлюх, бывших перед этой?! А «Мученичество Святого Петра»?! Кто не содрогнется перед силой и твердостью рук, крепостью обывательских задов убийц – я списал те у грузчиков фелук на Тибре, которые от убийц, нынешних и тогдашних, отличаются немногим часто? А Святой Петр – однажды умиравший в ночлежке нищий с ватной кожей, которая была изъедена муками и ранами? Разве же не правду веры и глубину истинных и человечных чувств они принесли в полотно, которое осталось бы в рамках канона скучным и пустым, душу до огня и глубины не затрагивающим? А кого не затронет свет обращения, от которого будущий Святой Павел не просто во мгновение ослеп, а словно бы защищается, ибо свет совести и свободы, разума и любви может быть нестерпимо тяжелым, требующим жертв и часто обрекающим на гибель, и лишь ищи спасенья от него? И разве эту глубину и силу чувств, а мыслей – так подчас вообще невероятную, приносит в мои полотна не выстраданный и отточенный годами метод, который называют увлечением простой и грубой жизнью, скандальным попиранием не просто канона, а святой веры? Однако, если перед трагедией великой миссии Христовой, принятой им с поцелуем предателя, они еще не смогли устоять, то «Положение во Гроб» отвергли, лживые и рабские душонки – оно висит у Папы во внутренних покоях… Тот всегда был терпеливее собственных псов! Караваджо видишь ли посмел писать святые образы лицами и чувствами простых людей! О гнусные и лживые подонки, в которых Бога еще меньше, чем в церквях во Его Имя и распятиях с Его мучившимся телом! Да именно поэтому мои полотна содрогают, порождают волны подлинных чувств и приобщают той подлинной и истовой, сжигающей подчас душу вере, которой в них самих нет! Именно ее и свет ее, пришедшие в полотна вместе со светом моей души и жизненностью образов, привычкой искать и находить их, полных смысла и идей, в жизни вокруг, ненавидят и отвергают в моих картинах, и чем далее, тем страшнее и непримиримее, яростней!.. А началось всё вот с них двоих (*показывает на Элен и картину на пюпитре*) Одна, привыкшая подставлять собственные чресла под десятки мужских, вдохновила рождение в моей душе усопшей Богоматери… Какая скорбь в душах Апостолов… как сумел я передать ее светом, жестами их рук и выражениями их лиц… позой Элен, умершей словно простая женщина, а не Богоматерь… Как сумел я написать трагедию человеческой смерти и судьбы... Кто, глядя не это чудо, не задаст себе неотвратимый вопрос – как я живу, что выйдет из всей моей жизни и этих ее мгновений… с чем приду я к тому последнему пред вечностью или адом пустоты и забвения мгновенью, которое настигло Мадонну? Да разве же красота, власть и сила, значение картины этой не вечны?! Разве и через пол тысячи лет она не продолжит содрогать и терзать, будить оплывшие от забытья и лжи душонки, кои не переведутся и продолжат быть во множестве до самого Второго Пришествия? О нет, именно застывшая в облике Богоматери шлюха только и окажется способна на это!.. А вот же – чем более совершенен мой метод и подход, и более правдивая вера застывает в написанных с ним полотнах, тем больше он, они и я становятся ненавистны и отвергаемы… «Положение во Гроб» спас Папа Климент, дни которого, по всеобщим перешептываниям в бесконечных лабиринтах Ватикана, подходят к концу… А это чудо – лишь усилия Рубенса… (*остальные в этот момент не понимая переглядываются*) А что будет дальше? Что будет дальше, если я сам, стоя под моими же картинами… перед детьми моими, плодами моей жертвы и любви, труда, бессонных дней и не вдыхавших свежего воздуха дней, слышал, как скоты с минами благочестия на лицах, науськанные священниками, разражались под ними злобными и ненавистным шипением?! Ведь померещилось мне в эти мгновения в церковном мраке тоже, что часто настигает кошмаром по ночам – та площадь, залитая светом и занявшимся огнем костра, орущая «сожги!» толпа. Так что же будет с ними, когда Папа Климент VII умрет, а на престол Святой взойдет один из таких же скотов, овладевший искусством скотства в совершенстве и вдоволь, чтобы стать новым Папой?! Что будет с теми постигнутыми тайнами, со всем обретенным мною как истина веры и искусства, что в них воплощено. (обессилев и устало) Что будет с Вами, верные мои друзья и дети, рискнувшие идти за мной? Бегите от меня, как от ожившего дьявола или чумы, ибо со всем божьим и истинным, что есть во мне и моем искусстве, я несу лишь беды и несчастья, гибель… Бегите, чтобы не пропасть… Ибо хоть верному пути учу я вас, более невольно, нежели продуманным примером – последуя за мной лишь пропадете, как обречены гибнуть во мраке мира дух, свобода и любовь, свет господень в человеке… Даже если решается отчаянный безумец жертвой, полной терний и битв дорогой быть им верным, не столько на победу уповая, сколько просто не способный иначе… Что будет со всем этим?.. Доживет ли сквозь века, пусть даже будучи прекрасным и полным обретений и загадок, самой вечной истины?.. А если нет – есть ли тогда смысл, был ли во всем, что было до этого мгновения?.. Победил ли я, как желаю верить или мнить, если каждый новый день словно пощечиной пытается убедить меня, что я проигрываю битву?.. И мрак мира оказывается сильнее, нежели один, пусть даже талантливый и безжалостный к себе человек, решившийся быть человеком, трудом и борьбой воплотить свободу и любовь, господний свет, вложенный искрой духа в каждом, но раскрывающийся в редком, ибо требует это выбора, жертвы и отчаянной, обычно венчаемой гибелью борьбы, означает проложенную страданием, поисками и битвами, а не довольством и покоем дорогу?...**

***Четверо остальных завороженных и потрясенных, некоторое время молчат, а Караваджо глядит перед собой, опустошенно и устало.***

**Спада. (*сдавленно и хрипло, осмеливаясь прервать отчаяние*) Но ведь сказали вы, Учитель, что нашелся покупатель на чудесное это и вправду полотно?**

**Караваджо. (*самому себе, но в качестве ответа*) Два года… В пятнадцать раз дольше я продавал ее, нежели моя рука ее писала, а ум и душа в муках, приливе вдохновения и разрывая меня рождали… *(к Элен*) Ты не рожала, хотя детородных органов видела и принимала в себя вдоволь. Но знай, что родить картину – мука гораздо более адская, страшная и грозящая гибелью, нежели извергнуть в мир из утробы и лона ребенка… И гораздо больше дарящая счастье… Ибо ребенок лишь может быть человеком, и поди знай, станет ли… Быть может станет он с годами лишь бездумным, лживым и довольным последним адом жизни и мира скотом, в котором спят дух и любовь, орущим вместе с толпой, расстворенным в ней душой и жизнью, в разврате достигающем забвения и бегущем от священной дороги… И захочешь ты уничтожить его, пожалеешь, что привел в мир… Быть может он предаст тебя, выкинув в старости на улицу, в холод и дождь, или написав донос, как сделал это в отношении к великому, сгоревшему на костре страдальцу один из его учеников, то есть детей… А полотна – они человечны и прекрасны просто потому, что в любви и искренности, чистотой души и жаждой истины, в жертвенном труде привел ты их в мир… И они в любом случае благословят тебя, даже если обрекут на гонения, плевки и гибель, ибо сделают вечным… Знаете ли вы, что не молитвами в церквях и причастием завоевываем мы вечность, победу над смертью и Сатаной, а созидая, жертвой и горением любви, экстазом творческого труда?.. (*самому себе, продолжая размышлять*) Они не в силах устоять перед гением караваджиевской кисти, а потому – перед соблазном заказать мне очередной сюжет… Но они желают, чтобы я писал и верил так, как это любо и близко им. Но так не будет. Никогда. Чего бы не стоило. Я буду писать и верить так, как считаю правильным сам. А они – пусть принимают и благоговеют, лживая и жалкая, по рабски трусливая человеческая нечисть, либо плоды труда и любви моих вместе со мной сжигают, рвут на куски под плевки и всеобщие проклятия, прячут в сырые подземелья… иначе всё равно не будет. Я самому себе и собственной свободе, правде любви и совести… тому, что вижу как истину в творчестве, вере и жизни всё равно не изменю, пойду по этому пути до конца, каков бы ни был он! Это путь света, даже если его зовут ересью, святотатством и распутством. А далее – пусть судят Господь или мрак вечной пустоты.**

**Бартоломео. Однако, как же с «Успением»?..**

**Караваджо. Рубенс, благослови Господь дни его, гения гораздо большего, и более плодовитого и способного к труду, спас судьбу картины, с которой моя длящаяся с молодости схватка с миром подошла кажется на самый край… Он написал Герцогу Мантуанскому, разогрел пустую и жалкую душонку того рассказами, какой оскоминой я стал церковникам, как почитают мои полотна изысканные вкусы и умы римских аристократов, но ненавидит грубое и выпестованное церковью простолюдье, и соблазнил его купить мое дитя… Купить отблеск моей Элен… *(с гневом*) За треть положенной цены!.. Откровенно и ничуть не стесняясь, сославшись мне в письме на то, что так должно быть и не иначе, ибо покрывается достойная картина чадом от очага и никто другой ее не купит! «Скьочезе»… ничтожество с герцогским титулом и душонкой торговца кофе или вора-банкира, убивающего без ножа, одной лишь удавкой векселей, оббирающего нищих… (*свирипея* *и окончательно взрываясь*) «Ла бастардо ступедо»!... «Иммбониторе!!» «Труфатторе иль данацьоне»... «Бестьяме спорко»!!... Мало, что меня унижают, отвергая в слепоте и лживости душонок и умов прекраснейшие из моих чад! Они еще в лицо издеваются надо мной, грабя меня, словно я по прежнему молодой и скитающийся пьянчуга-смутьян, у которого нет пути и имени, а не великий Караваджо!.. (*успокаиваясь*) Через пару часов посланцы этого титулованного ублюдка прибудут забрать дитя мое… (*подходит к картине*) Вот, я вглядываюсь в тебя последний раз в этой жизни, помня, как рождался каждый мазок… Прощай! (*отворачиваясь от картины и к остальным*) Упакуйте в ящик как следует и вручите, разберитесь тут. Я же ничего не желаю знать об этом и иду спать…**

 ***Уходит.***

 **Картина IV**

***Ночь в комнате, где спит Караваджо. Рядом с ним прикорнула на топчане Элен. Караваджо внезапно просыпается и вскакивает на топчане с криками и хрипами, как будто он задыхается, потом заходится в кашле с кровью.***

**Элен. (*обвив его собой и лаская, успокаивая*) Что с тобой? Тебе приснилось страшное? Отдай его мне, пусть оно во мне сгинет навечно!.. Я видала в жизни более страшное… До встречи с тобой был только мрак.**

**Караваджо. Нет, детка… Я просто стал задыхаться… Такое, как и кашель, в котором вместе с кровью выходят кажется потроха и душа, стало приключаться со мною всё чаще… Уже не было пару лет, а теперь вернулось с новой силой. И хоть сил душевных и нравственных для работы пока вдоволь, и они горят во мне задумками и стремлениями, силы телесные, так нужные, чтобы их воплотить, потихоньку меня покидают, хоть я еще довольно молод… (*Элен обнимает его еще сильнее, но он не обращает внимания*) Что – на дворе глубокая ночь? О черт, проклятье… Я рассчитывал проспать до вечера, а после поработать, есть над чем, но вот же – ночь… Осталось только наглотаться вина и спать… Всё вышло, как надо?.. Герцогские слуги были, взяли им положенное и расплатились?**

**Элен. Всё так.**

**Караваджо. Остальные спят?**

**Элен. Беспробудно.**

**Караваджо. А ты как всегда рядом, словно Магдалена возле Спасителя или любящая и преданная собака – подле хозяина.**

**Элен. Как всегда. Вроде бы сплю, но слышу и чувствую во сне каждый твой вдох. Ибо собака твоя. Ибо люблю.**

**Караваджо. Надо выпить как следует вина и спать…**

**Элен. (*с огнем и отчаянно, бросаясь к нему*) Микеле, почему ты не хочешь взять меня? Отчего не сделал этого до сих пор, ведь мы знакомы и рядом уже целых два года? Отчего не желаешь?.. Я люблю тебя так, что готова с тобой вместе сгореть, хочу принадлежать тебе, слиться с тобой телом, как слилась душой и последним, еще не умершим светом в ней! Отчего же ты не берешь то, что тебе готовы подарить без остатка – любовь, тело, душу, жизнь?..**

**Караваджо. (*глядя перед собой*) Делить тебя с половиной Рима? Ты верно спятила, детка...**

**Элен. Но ведь ты любишь меня… Любишь?... (*трясет и бьет*) Скажи что любишь, скажи немедля, ведь это так!! Да даже не говори ничего или скажи, что ненавидишь и презираешь больше, чем пользующие меня словно вещь скоты, знаю всё равно – любишь!**

**Караваджо. (*пристально поглядев на нее, после вновь отведя глаза*) Да, может быть… И даже скорее всего люблю… Тебя ли, какова ты есть, или то, что вижу и пишу в тебе, но люблю и жизни без твоих приходов в этот дом уже не мыслю…**

**Элен. *(обнимая, со страстью и чуть не плача)* Так в чем же дело, почему не берешь меня, ведь ничего я не желаю так, слиться с тобой, принадлежать тебе целиком?! Свет в моей жизни и душе – только ты и эти комнаты, в которых пишешь ты меня Богоматерью или какой-нибудь из святых! Остальное – ад и мрак. Человек я лишь здесь, с тобой и верными тебе друзьями, ибо вы люди. Лишь здесь я – я, в возможности послужить вам и тому чистому, чему вы сами служите… Не было бы этого, уже давно я перерезала бы себе вены ножом для чистки рыбы, как много раз думала до нашей встречи…**

**Караваджо. Что же не уходишь ты целиком в свет и чистоту духа и любви, которыми полон этот дом? (*приглушенной яростью*) Что остаешься шлюхой, вещью для утех? Якобы желая быть человеком, но быть им и переменить, очистить для этого жизнь до конца не решаясь? Что ж по прежнему делишь себя с мраком и грязью, себя губишь?**

**Элен. (*потупив взгляд*) У жизни и мира свои законы, Микеле, ты разве не знаешь… Тебе ли объяснять, мудрецу великому и страдальцу… Я не выживу, лишь служа тебе моделью… А в нищенстве жить я не привыкла!.. (*со страстью*) Да и ради тебя, чтобы смочь там и тут замолвить очередному, жадно обладающему мной скоту за тебя словечко!..**

**Караваджо. (*закрывая с мукой глаза и начиная плакать, хрипло*) Замолчи!**

**Элен. Ради тебя! Ради тебя одного я чаще бросаюсь в грязь привычной жизни, словно в омут. Зная, что есть в жизни и судьбе маленький клочок или обитель света, где я – я и сумею очиститься душой!..**

**Караваджо. (*рыча*) Замолчи! Последнее я адское отродье, если любимую и любящую женщину не способен до конца отвоевать у грязи в ней самой и в жизни… Ты мечешься между светом божьим и житейским мраком, соверши же выбор… Тогда быть может.**

**Элен. (*вопреки логике ободренная его словами и наседая*) О боже! Сколько же скотов жаждет обладать мной и готово платить за это горы денег, считают меня прекрасной! Я же готова и хочу стать твоей, а ты не берешь! Я днюю и ночую рядом с тобой, словно верная собака, ловлю в полусне твои вдох и звуки колик у тебя в животе, молю и прошу – возьми, а ты не хочешь!**

**Караваджо. Делить тебя с половиной Рима? С чреслами епископов и кардиналов (*глухо свирепея*)… торговцев кофе и подобных им душой лощеных герцогов, выродков-наследников великих духом из прошлых времен… быть может самого Папы? Нет?! (*с беспредельной яростью*) Со старым Климентом, страдающим одышкой и смертельными коликами сердца, ты еще не спала, ему не дарила любовь, в него не вдыхала жизнь, ему остатки ее сочащимся лоном не сохраняла?!**

**Элен. Не любишь значит… Ведь если бы любил – простил бы, как и заповедано верой.**

**Караваджо. Я не Христос и не Святой Апостол. Люблю. Отчего и что – не знаю сам, но факт. И потому, что люблю, ценю и уважаю в тебе человека… Богоматерь, которую пишу, отблеск человеческого и божьего света – не помогу тебе тонуть в грязи, не станут в этом подобным иным… Реши, соверши выбор. Одно или другое. Богу или мамоне. Свет и чистота совести и духа, либо мрак житейской грязи, столь привычной взгляду, что она как правило кажется истиной и необоримой судьбой.**

**Элен. (*вставая перед ним и сбрасывая платье*) Разве я не прекрасна?**

**Караваджо. (*после паузы, спокойно и медленно проводя по рукой по ее телу*) Прекрасна, вправду… Я не стану спорить. Лицом, которое, чем более тебя пишу я Богоматерью, Мадонной-Девой и дарительницей Спасения, становится всё более прекрасным и на нее чертами и выражением похожей… Грудь твоя упруга и мягка, подобно груди Святой Девы должна была бы вскормить мне сына, стань мы женой и мужем. Твои бедра прекрасны и хоть полны, но прелести жизни, в которой могут быть не только мрак и грязь, но свет, любовь и чистота не теряют… Такие нынче всё более любит писать Рубенс. Лоно твое прекрасно и словно призвано дарить жизнь, ибо она, хоть полна болью и адом, душащим свободу и любовь мраком, всё же достойна быть подаренной и прожитой, таит в себе великое. Я написал бы тебя полностью обнаженной, если бы мне не было противно и не желай я всю жизнь, не мало видев грязи, писать иное, что различаю в мире и жизни, человеке и тебе самой поверх… Знай, я написал уже с полсотни великих холстов, на которых простые люди из обычной жизни оживают и становятся святыми, но нет ни одного, где сверкала бы красотой и правильностью линий первозданная женская натура… Великие прошлого любили это и были названы гениями. Великий гений живописи, я не написал ни одной обнаженной женской натуры, ибо вижу и ценю, постигаю совсем иное, к другому прикасаюсь кистью, делаю людей святыми, а святых – подлинными людьми, пишу обычную, полную грязи, но до истины постигнутую жизнь, а меня всё чаще называют служителем Сатаны, хулящим благочестивое искусство и каноны. Я люблю тебя. Люблю тебя, настоящую тебя, ты знаешь. Люблю в тебе отблеск и свет Богоматери, который отвоевываю у грязи и мрака, в которых ты, словно молодая деревенская свинюшка, пусть даже не по собственной воле, а страшной правдой и волей мира привыкла барахтаться с невинной юности. (*повышая голос и крича*) И ни тебя, ни свет в тебе и Богоматерь, ни любовь к тебе, ни самого себя и собственную душу я не оскверню постыдной мерзостью греха, позволив отнестись к тебе как вещи, подобно иным! Решись. Соверши выбор. Тогда сольется свет в твоей душе с тем, которым я сам живу с юности, соединятся наши судьбы и дороги, тела. Станем мы одним во всем. (*с яростью и властно отворачивая от себя ее бедра*) Оденься, шлюха чертова! И постыдись – с тебя ваяют кистью растолченными в медной ступе и смешанными с маслом флорентийских олив красками Богоматерь! К душе своей зови, а не к пока еще не утратившему силу привлекать телу! Достойна будь призыва этого и чьего-нибудь ответа душой! Как перед Господом, отвечай душой и сутью перед душою, взглядом и умом другого человека…**

 ***Элен одевается***

**Караваджо. *(внезапно*) Идем работать вниз!**

**Элен. (*со скепсисом и сарказмом, словно к сумасшедшему*) Что-что?**

**Караваджо. (*властно и страшно, раскрыв что-то видящие глаза)* Идем работать вниз!**

**Элен. Ты спятил… Темень, полночь… спят ребята… Очаг потух…**

**Караваджо. Ты разведешь огонь, пока я натяну холст в раме…**

**Элен. *(с яростью*) Какое работать?! Ты спятил?! Света нет, полночный мрак по Риму и вокруг! И даже нет луны, твоей душе привычной! (*с издевкой*) Где ж свет возьмешь, так важный для тебя в полотнах?**

**Караваджо. (*властно, страшно и глухо*) Идем работать, бестия, что вижу я Мадонной! Идем работать, шелудивая душой шлюха, достойная нового полотна! Всё что сказала ты – верно, но как раз нужно мне для нового замысла и полотна (*через несколько мгновений в темной зале*) Сегодня мне нужен мрак – он будет в полотне голосом истины, а не свет, как обычно. И темный угол дома, которым вполне достойно послужит поначалу эта зала… Огня же хватит именно того, который даст усталый и нехотя разогревшийся очаг, не надо более. (*Элен собралась душой и покорно делает то, что он велит*) Ты станешь вновь сегодня Мадонной, дитя!**

**Элен. Мне переодеться?**

**Караваджо. Нет, в этом красном платье, в котором ты на улице влечешь клиентов!**

**Элен. Хоть волосы прибрать в платок?**

**Караваджо. Нет!! С расхристанными, словно только что вскочила ты с постели, где отработала, отдав постыдный долг греху и миру, или не спит клиентом сделанный ребенок, что с бабами этой профессии бывает часто… Быть может после приберем их чуть, увидим… Но с расхристанной грудью, не смей ее покрыть платком, оставь его на месте, не трогай!**

**Элен. (*со злостью*) Да спятил ты и вправду, что ли? Этим будет всем Мадонна? Опомнись и поостерегись! (*видя, что он ее не слышит*) Я не хочу! Не буду я и не желаю, слышишь! Не приму участия в пляске овладевшего тобой безумия! Не позволю тебе в него впасть до адского греха и осквернив образ Богоматери, одним лишь отблеском которого в душе и выживаю ныне!**

**Караваджо. (*метаясь по зале, выставляя правильным образом декорации и растянутый в раме, заранее прогрунтованный холст*) Заткни же рот, исчадье ада, и встань там безмолвно, взяв на руки этот тяжелый валик для головы, на котором я сплю, если настигает меня сон здесь, возле работы и полотен… (*Элен покорно выполняет*) Он – твой разбуженный благочестивыми пилигримами посреди ночи ребенок, представь. И вообрази себе двух благочестивых и посещающих сельскую кьезу скотов, которые вчера кричали на римской площади «сожги!», специально пройдя пару дюжен верст, чтоб посмотреть на костер Святой Церкви, а сегодняшней ночью пришли поклониться коленопреклоненно чудо-младенцу… Спасителю, пришедшему в мир, чтобы оставить в нем завет любви, прощенья и свободы! Представь их где то тут, внизу, и смотри на них так же, как глядишь сейчас на меня, не позволяя лицу сменить выражения… И с теми же чувствами… Отдайся им вволю, насладись ими! Я – это тот контур стула справа, который есть для тебя сейчас они… Давай, скажи стулу во мраке то, что думаешь обо мне и накипело в душе!.. Вот так дитя, вот так, душа моя и любовь, вот так и ничего не меняй! Мы сотворим с тобой сегодня в нашей любви не грязный экстаз тел, а нечто великое, подлинно великое – полотно истины! *(начинает писать*) Кто ты, чтоб сметь судить родившееся у меня в душе и уме, тебе не доступное! Ты будешь сегодня Мадонной! Вот так, именно в облике разъяренной, уставшей и разбуженной посреди ночи шлюхи, какова ты вечно и есть! Вот так, любовь моя, погубленная миром женщина и Богоматерь, только так. Лишь так, с полнящим твою душу гневом, ты станешь сегодня Мадонной обличающей и судящей, отвергающей словно преступников и исчадий ада тех, кто вроде б верит в нее, коленопреклоненно молится ей в бесчисленном море церквей, именем ее и отданного на заклание людским грехам ее младенца, вершит и одобряет в мире и привычной, протекающей под гомон церквей жизни ад! Для этого ты предназначена была судьбой со мною встретится – чтобы стать голосом и лицом суда веры над теми, кто под ее знамениями находится от нее с противоположной стороны! Чтоб говорить об этой вере голосом суда и отверженья (*пишет с возбуждением, а Элен стоит недвижно и завороженная*) Для этого приведена когда-то в мир Господом, верю! Чтобы посреди полночного мрака разорвать мне душу и ум вдохновением, явившись образом Мадонны, судящей и обличающей лживых скотов! Им подавай Лоретскую Мадонну!.. Проклиная Караваджо, отвергая и быть может вместе с ним самим будучи готовыми сжечь его полотна, заказывают их, ибо влекут в них свет, загадка и гений, что даром господним был в жертвенном труде, борьбой и мужественной верностью взращен и приумножен, стал чудом совершенства! Я вам «подам», дождались вы!! Я вам подам, что вижу и рождаю из души ныне!!! Я вам подам такое, от чего вы содрогнетесь и придете в ярость, взбеленитесь до безумия, пусть даже я закончу потом костром или анафемой и смертью подзаборной собаки! Я выскажу вам всё, что разрывает ум и душу долгие годы как истина и голос божий, вечный голос совести, свободы и любви! Сегодня он заговорит на полотне, где ты детка, станешь из разъяренной шлюхи судящей и обличающей Мадонной, воплем отрицания и гнева, в котором вера подлинная ниспровергает лживую и кровавую грязь, которую в душах людей и мире называют верой!! Я смогу, способен! Душой способен, вдруг сумевшей преодолеть страх до конца! Пусть они сожгут мою «Мадонну ди Лоретто» вместе со мной или сгноят в подвале, но я скажу им, что есть они и рабская их жизнь, какова на самом деле душа и вера их! Своим гневом, любовь моя Элен, некогда превращенная миром в шлюху девочка Мирелла, ты скажешь им, что есть они, с их верой, душами и жизнью, справедливым осуждением обнажишь им их гнилую и адскую суть, неизменную от века и кажется иногда, никакой иной быть в человеке и не способную! Ты скажешь это им, моя Мадонна, Богоматерь моей судьбы и кисти, гнев и суд твой скажут! Верь мне, как я сам сейчас, посреди тонущего во мраке и спертой духоте света очага, верю собственной душе и кисти, являемой на холст истине любви и свободы духа, голосу бунта, которым она говорит! С тобою мы другие, есть множество других. И множество из этих других заходит в дом, который кажется тебе обителью света и чистоты. Так давай же скажем им, дитя мое – безжалостно, наотмашь, что люди мы, а не они! Они лишь подлый скот, который, хоть крестись коленопреклоненно под распятьями, сжигай по воле Папы людей божьих, называемых еретиками, признавайся на исповеди, под сводами церквей святым и лживым ублюдкам, что бегал к шлюхе, дабы поддавшись слабости, превратить женщину и Богоматерь в вещь, читай семь раз во искупление «Падре нострис», кради по закону и торгуй кофе, оббирай за столами в банках нищих и делай массу прочих, праведных и важных для правды мира вещей, швыряя часть добытого в коробки для милостыни, останется таким до скончания веков, ничем иным быть не способен. Людьми зовутся лишь от того, что ими созданы и могут ими быть, обычно только губя в прах вложенные в них надежды господни!.. Давай же скажем им об этом вместе, языком вдохновения и божьего дара, языком линий, любовь моя!**

 **Картина V.**

***1606 год. Ватикан, резиденция римского Папы. Многочисленные комнаты и проходы в Станца делла Синьяттура – внутренних покоях и кабинетах, предназначенных для занятий рутинными официальными делами и документами. Папа Павел V, еще недавно кардинал Камилло Боргезе, не торопясь беседует с Таддео Ордолизо, его давним секретарем и личным порученцем, шествуя между фресок Перуджино и Рафаэля.***

**Папа Павел V. Скажите мне, любезный Ордолизо, когда основные, самые насущные дела нами закончены и можно отдаться наиболее болезненному, требующему вдумчивых решений – что доносят верные Церкви и Святому Престолу люди из Парижа?**

**Ордолизо. Увы, Ваше Святейшество, сведения весьма неутешительные для ваших ушей и дела Святой Церкви. Французский король во всех смыслах так и не образумился вместе новым с браком, душа и традиции древнего и благородного итальянского рода, дарившего пап и великих меценатов, повлиять достойно на его настроения и ум не сумели. Варварская кровь его предков, однажды, подобно множеству северных государей, уже совратившая его с путей Святой Церкви, бурлит в нем адскими страстями и становится грехами, которые возможно вскоре уже будет не дано искупить (*после пристального взгляда Папы*) Около трех десятков подробных отчетов об этом, составленных разными глазами и ушами, но полных одинаковых выводов, лежат в папке, обшитой синим фландрским шелком, которую я оставил на столе Вашего Святейшества, чтобы Вы могли убедиться сами в достоверности, а не преувеличенности моих слов.**

**Папа Павел V. Считаете вы, Ордолизо, что положение серьезно?**

**Ордолизо. О да, Ваше Святейшество, день ото дня в этом более не остается сомнений!**

**Папа Памел V. (*еще более замедляя шаг*) Чуть более десяти лет назад Святой Престол, возглавляемый тогда почившим Папой Климентом VII, да будет милосерден Господь к душе усопшего праведника и святого, решил проявить мудрость, благословив на коронование этого человека. И сделано было так лишь потому, что его собственная мудрость и решимость принять католическую веру, откреститься от проклятой лютеранской ереси, получив взамен право стать монархом великой католической страны, казались нерушимыми. Да, столь же внятными были и его стремления не выжигать каленым железом эту ересь с отданной ему во власть земли, а позволить ей сохранить привилегии… Вопрос, как и доныне помню я беседы в этих и окрестных коридорах, был очень сложным… Подобное несло мир стране, но укрепление ереси. В конце концов, решенье было принято – благословить. Позиции Святой Церкви и без того сильно пошатнулись тогда, на всех северных землях. И сохранить Францию верной Святому Престолу целиком, пусть даже закрыв глаза на в иных случаях недопустимое, было сочтено большей и богоугодной мудростью. Тем более, что выхода иного не было, ибо оружие и сила характера этого человека были доказаны и несомненно, при дурном развитии событий, могли причинить огромный вред. Надежды были на то, что став католическим монархом, главой и властителем великой католической державы, давнего оплота и союзника истинной веры и Святой Церкви, этот человек сумеет глубже осознать важность выпавшего ему пути и вымертвит прежде всего из самого себя остатки прежних еретических заблуждений. Покойный Папа Климент VII делал ставку прежде всего на мудрость прощения, которая обращала в веру древних язычников подчас ничуть не менее властно и сильно, нежели меч Святой Церкви. Вы знаете – Святые Апостолы Петр и Павел олицетворяют два начала Веры и Церкви, кои были заповеданы самим Господом: прошение любви и меч. Однако мудрость прощения, олицетворяемая Святым Петром, небесным главой Церкви, без сомнения выше. Отцы Церкви, наши великие учителя, сходились на этом безоговорочно. Это же тогда решило вопрос. Однако, всё говорит в последнее время о том, что король Генрих IV, неисправимый варвар, в прежних заблуждениях напротив – крепнет и начинает почти что коснеть. Не так ли, Ордолизо?**

**Ордолизо. О, Ваше Святейшество понимает с присущей ему мудростью и верно! Данные им еретикам-гугенотам привилегии, словно продолжая споры с его благочестивой католической супругой, он день ото дня расширяет, делая невозможным более закрывать на подобные бесчинства глаза. А поддержка им враждебных и еретических государей и стран с севера и востока, кажется имеет далеко не только политические причины, а в первую очередь продиктована именно вновь поднимающей в нем самом голову протестантской ересью и памятью погрязших в ней молодых лет. Он, будучи формально верным Святому Престолу, всё чаще ведет себя как его откровенный враг.**

**Папа Павел V. (*задумчиво*) Возможно, иной скажет, что это соответствует интересам его страны… Так же вполне возможно, что это делает его популярным среди подданных… В равной мере среди католиков и еретиков, ибо дарит хоть по сути дьявольский и означающий козни Искусителя, но мир… Однако, истина в том, что интересы какой-либо страны не могут противоречить интересам Святой Церкви и Веры, которую она ревностно бережет по Завету Господнему сквозь века.**

**Ордолизо. И?**

**Папа Павел V. Святой Престол, доверенный мне жребием и благословением Господним, должен кажется готовиться к крайним мерам, хоть меры эти тяжелы и в отношении к коронованным персонам применяются лишь в исключительнейших случаях. Однако, времена нынче иные, ересь и Сатана подняли голову и извратили христианский мир Европы, и подобно прежним временам и торжествовавшей в них Славе Господней, заставить императоров ползти униженно и коленопреклоненно в Рим, сюда, в покои эти, невозможно. И потому – крайние меры становятся единственным выходом и орудием, способным защитить интересы Веры и святой Церкви. Вы понимаете меня, Ордолизо?.. Очень важно, чтобы вы понимали. Ибо Вам, которого я знаю не из папских и церковных, а семейных покоев, со всем впитанным к вам с молодости доверием, я хочу поручить подготовку этих мер. Их мы применим лишь в крайнем случае, если французский король подведет к этому, будучи сам виновным и ответственным за настигшую его судьбу и обрушенный на его голову меч господнего возмездия. Но подготовить их, чтобы в любой момент задействовать – по истине жизненно важно. Вне зависимости от того, когда настанет время Господний Меч обрушить, и настанет ли.**

**Ордолизо. (*почтительно склоняясь и свидетельствуя этим понимание и готовность исполнить приказ*) Я тотчас же примусь исполнять волю Вашего Святейшества и думать, как сделать это наилучшим образом. Однако, лишь спешу заметить, что сделать это и подготовить упомянутые Вами меры будет очень сложно, по указанным Вами самим только что причинам. Король любим его подданными, еретиками и католиками, по одним в сути причинам и в равной мере. И в равной же мере – вельможами и простолюдинами. Одни благословляют его за мир и достаток, другие – держатся за него как опору интересов и новой династии, гарантию политической стабильности. И найти того, кто обрушит меч господнего возмездия, а кроме того – как это сделать, будет весьма не просто…**

**Папа Павел V. (*веско, сурово и словно отдавая приказ, после долгого и пристального взгляда*) Так постарайтесь, приложите усилия, доказав рвением верность Святой Церкви, лично мне и семье Боргезе, которой служите всю сознательную жизнь. Достойны будьте доверия и миссии, которые на вас мною возложены, ибо они по истине спасительны и гарантируют вам завидное место у Господнего Престола, в вечной жизни. (*дает поцеловать Ордолизо руку*) Ищите среди вельмож соседних стран верного Церкви человека, особенности сути и натуры которого были бы пригодны для возлагаемой на него миссии. Используйте для этого связи, посланников и местных кардиналов, думайте и действуйте, благословляю вас, ожидая хороших новостей!.. А кроме того, видится мне правильной для Святого Престола та стратегия, чтобы ослабленную ныне французскую церковь оглавить умным, властным и решительным человеком, который смог бы придать ей именно политической силы и сделал способной удержать в узде королевскую власть, будет продолжит оная излишне брыкаться и отходить от предначертанных путей… (*задумчиво*) Сыскать такого будет тоже не легко, но это более моя забота, чем ваша, и мне она по силам… Пусть нет такого ныне, он созреет, верю, в лоне Святой Церкви и в ватиканских коридорах, очень скоро…**

 ***Ордолизо склоняется в еще более низком поклоне***

**Папа Павел V. Есть у нас еще одна проблема, достойная сегодняшнего обсуждения… на поверхностный взгляд – не столь значительная и опасная, не столь же щепетильная, но если посмотреть в суть…**

**Ордолизо. Что Ваше святейшество соблаговолил иметь ввиду?**

**Папа Павел V. Караваджо.**

**Ордолизо. (*кивая в ответ головой*) Я понимаю суть проблемы, но не понимаю ясно воли Вашего Святейшества и конкретного приказа.**

**Папа Павел V. (*понижая голос и задумчиво, словно с некоторыми сомнениями*) Этот человек опасен.**

**Ордолизо. Понимаю.**

**Папа Павел V. Не понимаете, Ордолизо… Это сложный вопрос, очень… И беспокоит, терзает мне душу этот вопрос быть может более, нежели заблуждения и прихоти французского короля-варвара. Он гений, в этом нет ныне сомнения ни у кого, пусть даже он не признан Академией и всё более, без какого-либо иного выхода, отвергается нами… Он влияет ныне больше, чем если бы был Президентом Академии и соблюдал каноны, ибо гений, художник по истине великий… И этим он опасен. Ибо дар его, подобный гению великих прошлого, создававших красоту и величие этого города и многих иных мест, совращен и сбит с пути безнадежно, попал во власть Искусителя и вечных происков Того… Уже давно служит кажется Искусителю, а не Господу и путям веры, хоть умело в одежды веры рядится. А не всегда ли Сатана орудует именно так? Огромный дар кисти извращен во власти сатанинских соблазнов, движим совершенно извращенными художественными идеями и поисками, но оставаясь именно великим, влияет и губит души и умы, таланты многих! И в пагубном, необычайном по силе влиянии опасен, верьте мне… быть может более многого иного. (*обращая глаза собственные и Ордолизо к фрескам*) Рафаэль был истинно велик. Учитель его, под взглядом творений которого мы только что работали с документами, был велик по своему и не менее. Великими были и старшие друзья Рафаэля, сделавшие для благочестивого искусства Италии ни чуть не меньше. Они бывало вообще отходили от служения священным сюжетам. Бывало, позволяли себе вольности, но лишь те, которые разрешали им мы. В главном же они всегда оставались в принятых рамках, на канон и вместе с ним – на власть и авторитет Святой Церкви посягать не смели. И не только потому, что знали, чем это закончится. И не делали этого даже несмотря на то, что поклонялись эпоха и Церковь тогда величию гения их и им подобным небывало, а потому немалое сходило живописцам с рук, на очень многие вещи тогда было принято закрывать глаза. Они были в их умах и душах, в искусстве их истинными и верующими католиками – всё просто. И именно служа их искусством вере, делу Господнему и Церкви, постигая и воплощая языком того великие священные идеи, следуя каноны – были и становились великими. Взгляните, чтобы убедиться. Разве не проберет священный трепет любого, кто взглянет на «Ангела, явившегося в темнице Святому Петру?» не проникнется ли любой величием и милосердием Церкви, глядя на коленопреклоненного Карла Великого или чудеса во время пожара в Борго? Даже если эти люди думали про себя нечто хулительное и недопустимое, писали они гениально именно так, как были должны, лишь благодаря этому стали великими и не погибли, имели признание и не растрачивали понапрасну столь драгоценное время и талант на сварки, скандалы, мытарства, сомнительные в их сути полотна, которые в один момент просто отвергают и отправляют в чулан и прочее… А этот человек… Он бунтарь и еретик, Ордолизо, дерзкий и откровенный, уже настолько обуреваемый властью Сатаны, что просто более не может себя скрывать – убежденность в этом во мне нерушима ныне… Он не признан и так и не стал богатым, полотна его из церквей изымаются, а паству учат говорить о живописце Караваджо с осуждением и презрением, хотя уже века не принято это в отношении к тем, кого Господь благословил даром для служения себе и Святой Церкви… Стоим мы на почитании господнего дара в человеке, веками… этим держимся, благословляем и потрясаем мир… Однако, дар сей должен быть правильно выпестован и поставлен на службу Господу, мы же упустили с Караваджо вовремя такую возможность, позволив ему одновременно своевольничать и в его заблуждениях закоснеть и устояться… Дар его Господний погубили… А точнее – позволили Искусителю и ему самому во власти сатанинских соблазнов тот сгубить… А потому, хоть всё это и так, он гений и кисть его велика и совершенна, образумить его и вернуть его искусство на пути Господни, строго выверенные Церковью и ее канонами не удается и вряд ли уже получится. Он погублен. Он не богат и не признан официально, но независим и обладает признанием и влиянием, силою гораздо большими – по праву попавшего во власть Искусителя гениального дара. И потому – позволяет себе писать как хочет и делает то, что считает нужным, ни на что не оглядываясь… Подчас откровенно святотатствуя и разрушая искусство, которое Святая Церковь ревностно пестовала чуть ли не четыре сотни лет, с тех самых пор, когда господний дар стал говорить в живописцах с небывалой силой, увлекся земными формами и подвергся опасности сойти с путей Того, кто награждает им… Стоит Святая Церковь и здесь на страже веры. И вот, у нас есть проблема. Он гениален, но служит его даром Сатане, ни с чем не считается, смущает души и умы полотнами на святые сюжеты, позволяя себе трактовать их произвольно и по своему, ниспровергает в прах каноны и потому – основы всеобщей благочестивой жизни. Делает это подчас откровенно, вызывающе. Смеет писать священные сюжеты, словно пирушки в злачном римском кабаке. Святые Апостолы выходят под его кистью простыми людьми. Образы их несут у него не великие идеи и символы веры, а человеческие, зачастую самые обывательские и площадные чувства, подчас откровенно недопустимые вещи! Это святотатство и ересь, Ордолизо. Тем более страшные, что говорят языком искусства и необычайного по силе и влиянию дара. Дерзкие и почти открытые в последнее время. И не стоит недооценивать опасности и списывать это на причуды гения и экстравагантность его нравов и вкусов, с молодости известную. Каноны живописи, продиктованные Церковью – отблеск канонов веры и благочестиво, покорно воспитанных в ней умов. Канон поэтому и ревностная верность ему – основа всего. Спокойствия и покорности умов. Праведной надежности и благочестивого повиновения авторитету церкви душ. Стабильности мира и жизни в их тысячелетиями пестовавшихся устоях, которые ныне так дерзко и преступно норовят обрушить. В конечном итоге, дело и интересы Веры и Святой Церкви, ее несущей и насаждающей в умы, зиждятся на каноне, чего бы он не касался – идей, заповедей или облика полотен и святых образов на них. Знайте, Ордолизо – ересь из умов приходит в полотна и из них проникает в умы. Возможно, начинается с полотен, извращенных чьим-то падшим и погибшим умом. С полотен – прежде способности душ и умов забурлить ею во власти Вельзевула и приносимых им в мир перемен самостоятельно. С привычкой упиваться грубой, низкой жизнью и ее образами, писать ее языком, ничуть тот не очищая, мир священных и «горних» истин, этот человек разрушает не просто веками устоявшиеся каноны религиозной живописи и мысли мастеров, ее творящей. Это ересь, ниспровержение канонов веры и понимания ее образов и идей, совершенно иной и по сатанински извращенный взгляд в первую очередь на веру, а не на живопись! Не буйный и дурной нрав, и не своеобразие натуры, которые стали оригинальностью живописного подхода в воплощении святых сюжетов, о нет! Это ересь и святотатство, преступно мыслящая, падшая в вере под властью сатанинских происков душа, изувеченность которой проливается ныне на полотно безудержно и так, что пожелай скрыть, но нне выйдет. И с этим надо что-то делать, пришло время.**

**Ордолизо. О, Ваше Святейшество глядит в самую суть!**

**Папа Павел V. (*продолжая с убеждением*) Он смеет не просто по своему, следуя каким-то собственным, извращенным представлениям писать священные сюжеты! Подчас кажется, что таким образом он осмеливается и по своему верить, собственным взглядом смутьяна и орудия сатанинского искушения смотреть на Святую Веру и Деяния Церкви! Он смеет глядеть собственным взглядом на то, что может быть лишь общим и тщательно выпестованным в умах под благочестивым надсмотром Святой Церкви, к этому единственному, по сути, в ее служении и миссии в «дольнем» мире призванной! У него собственная вера, кажется, свое добро и зло, личные заповеди и грехи и взгляд на то, как одному следовать, а другого сторониться! Вы понимаете?! Смекаете, что это значит и чем чревато? И делает всё это он именно языком его гениальной кисти! Так это ли не ересь, Ордолизо?**

***Ордолизо склоняется в почтительном, глубоком и понимающем поклоне.***

**Папа Павел V. (*взволнованно и гневно* *продолжая*) Здесь речь идет именно о совершенно извращенных идеях, отпавших не просто от церковного канона, а ото всех великих живописных традиций прошлого, ему верных, а потому – огромный живописный дар сгубивших и поставивших на службу Вельзевулу. Это наиболее опасно в его искусстве – сатанинская суть, облаченная в маску религиозной веры и живописи, швыряющая в грязь то, что свято. Обратите внимание – в молодости увлекавшийся сюжетами из быта, он десять лет назад перешел в основном только на благочестивые сюжеты христианской веры, хотя тот же Рубенс, к примеру, привыкши умело развлекать умы, не цурается наравне с таковыми ни портретов и простых сцен, ни тех языческих образов, которые дозволили мы не столь давно ради услаждения слабых душ и мирских забав… А этот пишет в основном только святое, но именно так – словно сцены из быта и обычной, грязной жизни, по сатанински и во власти Сатаны! На святых сюжетах, призванных очищать и возвышать души паствы в церквях, каноны написания которых выверены строго и в течение столетий, он словно упражняет его погубленную Искусителем мысль художника, человека и христианина! Будто сакральные сюжеты и им посвященные полотна – не обитель Истины Господней и Учения Церкви, на страже той стоящего рьяно, а просто кусок промасленного тряпья, на котором можно написать, что вздумается и в сатанинском обольщении, в отступлении от всеобщих и благословленных высшим авторитетом представлений, показалось верным!.. Он словно пытается через свое хулительное, в последнее время откровенно пренебрегающее каноном искусство, передать его не менее хулительный, еретичный и опасный взгляд на веру, подчас просто бунтарствует и чуть ли не прямо в лицо бросает вызов Церкви и оскорбляет ее! Попирая каноны благочестивого религиозного искусства, он рушит каноны и истины самой веры, как те выпестованы Церковью… Он опасен, Ордолизо… А я, хоть и знаю, что должно делать, но всё-таки колеблюсь…**

**Ордолизо*.* Так что же Ваше Святейшество прикажет мне конкретно? Ведь я лишь покорное орудие Вашей воли…**

**Папа Павел V. (*более самому себе*) Все последние годы он в основном лишь губит святые сюжеты, к которым смеет прикасаться, да так, что кажется – именно это одно и поставил себе целью! И чем более кисть его становится совершенной, гениальной и неподражаемой, тем это до содрогания и очевидно так! И связано это, повторю вам, именно с извращенными, еретическими идеями, которые движут им в вере и живописи и губят его талант, влияют вследствие огромности оного необычайно, грозят переменить сам подход к религиозному искусству! Очень многие издавна списывают это на его дикий и необузданный, скандальный нрав, ни чуть не поменявшийся с годами, желанье эпатировать и ради одного лишь удовольствия быть против положенного и предписанного, разделяемого массой умами и душами послушных Церкви, благочестивых и близких к Господу, верных Воле и Заповедям Того людей… Однако, я считаю это неверным… (*сурово и с убежденностью*) О нет, тут дело глубже и серьезнее! Здесь извращенная душа, погубленный Искусителем и преступный ум, ересь и сатанинская вера, как и всегда, умело орудующая за символами веры истинной! Он желает верить и жить, поступать и писать по своему, а не так, как предписано Святым Учением, ожидаемо выпестованными Учением и Церковью душами и принято в следующей покорно воле и учению Церкви жизни человеческой. Он желает ломать и менять, как это во власти сатанинского искушения видится ему самому, вы понимаете?! Так это ли не вечные происки и увертки Сатаны, в самой их сути? Это ли не суть зла и преступление, по истине достойное костра? Он необуздан сутью, а не нравом. Мы не сумели во время вместить его в предписанные волею Господней и традицией рамки в живописи и художественной технике, и вот, пожалуйста – то же самое случилось совсем скоро в области веры, где в отличие от искусства, жалости мы знать не можем и слабость в сердце не имеем права допустить! Судьба и Господня Воля обрекали его, желая научить и привести к правильному пути, на отвержение и бедность, скитания и массу адских терний, но лишь закоснел и укрепился он в заблуждениях и лживой, пагубной и сатанинской вере, что должно не понять и принять науку, подчиниться и жить, как требуют мир, церковь и ее, всеобщая для всех в делах и искусстве истина, а любой ценой упорствовать! Его дикий и с годами лишь ставший хуже, перешедший на полотна нрав – орудие и голос его преступной, попавшей во власть Искусителя и служащей тому сути. Так он бежит от обязанности услышать призыв Господень, то есть покориться и учиться мудрости подчинения как самой сути путей в служении Господу. Так он отстаивает свое желание коснеть в опасных и преступных заблуждениях – шпагой, драками, сгоранием в беспутстве и вине, готовностью к немедленным скандалам и нарушению приличий истино безбожному, чего бы не касалось! Так он отстаивает суть сатанинского зла в себе, уже почти полностью его погубившего – желание собственным образом верить, жить и писать. И если на обычные грехи людские Святая Церковь уже давно привыкла закрывать глаза, ибо вынуждена, то область веры и учащего ей искусства должно беречь и хранить строго, тут своеволия нельзя допустить никому. А покушение на веру и каноны ее искусства, на своеволие в той области, где учат человека понимать жизнь и окружающий мир, как должен он поэтому жить и поступать – преступление страшное, смертное, ибо грозит катастрофой для людских душ, умов и жизней. Всеобщей катастрофой. Для всего. Для веры и покорности людской, стабильности поэтому мира и окружающей жизни, ее порядка и нравов. Для умов людских, покорность и выверенность, правильная выпестованность которых, означенного вечно являются залогом. Об этом уж целый век почти дано знать нам – со времен проклятого еретика Лютера. И оттого уже так долго костры Святой Церкви и суда ее горят во множестве и безжалостно – битва за дело веры с Сатаной развернулась смертельная! Речь идет, мой верный Ордолизо, о преступной сути человека, взявшей в нем верх над Господним, отпущенным сполна и задуманном служить Господу путями, определенными Святой Церковью, ее Учением и благочестивой, покорной тому паствой. И в этой необузданности сути и нрава, противоставляющей законам церковным и людским, покорным и благочестивым душам, правильно выпестованным умам – власть Сатаны, которая стала к тому же обольщением и пагубным влиянием искусства. Таков мой вердикт. И мы, желаем или нет, обязаны принять решение.**

**Ордолизо. (*вновь и настаивая с почтением и покорностью*) Так что же всё-таки конкретно прикажет Его Святейшество? В чем праведная и великая воля Ваша, которой говорит Господь?**

**Папа Павел V. (*продолжая и словно самому себе*) Он не желает учиться и одуматься, вот в чем дело. Вот, что не оставляет нам выхода, друг мой… Он губит себя, не желая слышать призыв господней мудрости, суть которой – покорность нравам и вкусам благочестивых людей и Святой Церкви, веками стоящей на страже тех, для жизней и умов людских являющейся основой, опорой и поводырем, суровым и любящим пастырем, поставленным для надсмотра. И значит – мы должны сберечь от подобной участи множество других, на которых он, падший и погибший во власти Искусителя и собственных страстей, способен повлиять. Всё началось с «Положения во Гроб»… Оно висело до последнего времени около Зала Гобеленов, где почивший с миром Папа Климент VII любил неспешно гулять, успокаивая охваченное коликами сердце, я же повелел, не нарушая однажды провозглашенной святой воли, переместить его в Пинакотеку. Иезуиты полотна не захотели, как вы знаете, а Папа принял… Покойный Святой Отец преклонялся перед живописным гением как отблеском Господним самим по себе, а потому был часто и излишне снисходителен к грехам и заблуждением тех, кто оным одарен. Мы должны быть строже… Я тоже не могу не преклоняться перед гением… Однако гений должен быть покорен, не строптив – лишь так способен послужить делу Господнему и всеобщей святой вере… Видит Господь – чтобы спасти этого недостойного человека и отпущенный ему дар, я сделал всё, доступное силам и позволенное приличиями... Я сделал более, чем кто-либо иной на моем месте вообще захотел бы! Вы видели его Лоретскую Мадонну с двумя грязными босыми пилигримами? (*уже не сдерживая возмущения и гнева*) Это же в чистом виде ересь, пасквиль, оскорбление и пощечина в лицо Святой Церкви и вере, плевок в глаза! Это хуже, чем ересь, ею будучи, ведь силой непередаваемой его таланта и искусства рушит веру и сеет еретические настроения и идеи, вражду к Святой Церкви и ее вечной, неоспоримой и благостной для душ власти, оную рушит и крушит! Лоретская Мадонна, должная витать в небесной высоте и быть озаренной светом Господнего чуда, спущена в торжествующий мрак возле захолустного порога городского дома и изображена той разъяренной шлюхой, с которой он спит, говорят, уже виденной нами в «Успении Богоматери»! И не будь над ней нимба, правды и открытого святотатства ни что не могло бы скрыть! И эта шлюха глядит с откровенным и яростным гневом на двух благочестивых пиллигримов, в которых любой узнает прихожан и посетителей кьез во множестве итальянских деревень и городов, бросившихся в чистоте их душ к ее с младенцем Иисусом на руках стопам! И эти достойные люди, как и сам поступок их, ничего кроме осуждения и отвращения не вызывают у любого, так он их написал, а гнев к ним той, которая изображена Мадонной, даже покажется справедливым! Нет, вы понимаете, Ордолизо?! Да это хуже, чем злодеянья тех еретиков, книги которых мы изымаем и вместе с ними жжем на площадях святым и очистительным огнем! Это то же самое по сути, только хуже, ибо обольстительней и где-то даже откровенней! Ведь что же он всем этим нам хотел сказать?! Что виновна и преступна, отвратительна в глазах Господа и Богоматери, Святой Девы-Заступницы, благочестивая и совершающая праведные, предписанные Церковью деяния паства? Что лживы и преступны Святая Церковь и ее Учение и Вера, направляющие паству по Господнему пути?! Что должна сказать Мадонна, более похожая на шлюху, с гневом глядящая на благочестивую и идущую вслед за Церковью паству и словно защищающая от нее, от пришедших с верой и праведным трепетом в душе поклониться достойных людей, младенца Иисуса? Что Церковь и ее Учение одно, а Господь, Отец и Сын, Святая Богоматерь и вера – другое?! Это ли не ересь, страшная и заслуживающая костра, говорящая с разящей силой обликом шлюхи и торжеством мрака там, где должен должны литься свет чуда и блага, веры и церковного учения?! Образами превращенных в пасквиль благочестивых людей, которые, придя за три девять земель поклониться Мадонне и ставшемуся чуду, в чем-то словно бы виновны и дурны, далеки от истин и путей веры, а не ревностно и как предписано им следуют? Он откровенно ополчился на Святую Церковь, вы понимаете, с силой языка такой, что ум и праведная душа содрогнутся, зайдутся в ярости и гневе! И случалось подобное во множестве и с самыми простыми людьми, а не с одними лишь ученными мужами, способными схватить что к чему поверх сатанинского лицемерия, прикрывшегося святыми образами! А что же тогда для него вера и в чем права изображенная Мадонной шлюха, с гневом глядящая на благочестивую паству, олицетворенную двумя пилигримами? Уж не стал ли он каким-то невообразимым и непонятным путем еретиком лютеранцем или кальвинистом? Считает он верой те своевольные, вложенные ему в ум и душу Сатаной бредни, которые чем чаще, тем всё разительней и сильнее, с преступной дерзостью извергаемы им в полотнах? И при этом, о Святая Мадонна, он пишет многое с такой силой обольщения, что редкий сможет ощутить подвох, а глаз быть может искренне залюбуется, сочтя, что перед ним образец высокого благочестивого искусства! И вот такого, что лишь говорит, чем он смог бы стать и что сумел бы сделать, служа Господу его кистью правильно, написано им очень много! О, он опасен более, любезный Ордолизо, чем еретики, которых мы жжем на кострах вместе с книгами или гноим в Сан-Анжело и прочих местах! Тех по крайней мере, вместе с обольстившим их, можно сжечь, понятно разъяснив перед этим пастве суть сатанинских идей и искушений, чтоб было неповадно… Отделив свет от мрака, истину от дьявольской лжи, веру и ересь. Орудие борьбы с ними понятно… А с этим что делать?! Он всё же многое создал, полное духом благочестия, пусть даже вместе с грязью обычной, окружающей взгляд жизни… Матфей его великолепен и полон света и истин веры… Господь говорил его кистью, когда он писал три полотна для капеллы французского собора… Его «Успение», хоть еще прежде «Положения во гроб» стало похоже на пасквиль, святотатство и прямое оскорбление, всё же чему-то благочестивому способно научить, как многие иные полотна, не столь откровенно свидетельствующие борьбу Искусителя за его ум, душу и талант! А остальное, о Мадонна! Да что и говорить – Господь никогда не посылает огромного дара тому, кто не способен послужить Ему!**

**Ордолизо. (*пылая в глазах гневом и пониманием, проникшийся*) О, многое из этого и вправду известно, ваше Святейшество, однако же неслыханно!..**

**Папа Павел V. (*продолжая и словно оправдываясь*) И вот, движимый мудростью прощения, я решил дать ему возможность искупить, засвидетельствовать покорность вере и учению Церкви, истины ее несущему… показать, что Господа в нем более, нежели Вельзевула, и он готов служить. Я заказал ему образ Мадонны для Сан-Пьетро… что же могло быть более понятным как жест и свидетельство нашего расположения и снисхождения, почтения к его искусству и отпущенному ему Господом дару? Честь для его великого таланта, которая требовала одного и главного – явить дисциплину и покорность мудрой длани Церкви, ее канонам веры и живописи, из века в век делу веры служащей! Должна была научить покорности – основе веры и благочестия в глазах Господних! Должна была стать для него и его души, его стремления служить искусством Господу испытанием, именно так была нами задумана! Яви в обмен на честь, признание и право продолжать трудиться не просто дар, а готовность подчиняться и следовать канону, праведно служить таким образом вере, церкви и делу Господнему, ибо нельзя и нет пути никак иначе! Он до сих пор не признан Академией, но полотно в приделе Сан-Пьетро стало бы признанием его искусства в церковном и живописном мире, среди благочестивой христианской паствы невиданным, большинству людей его ремесла даже не снившимся! Он стал бы не поносим, а известен более многих избранных! Он отвергаем там и тут, невзирая на талант, большую часть его пути, добивался признания лишь силой и оригинальностью таланта, и в основном у коллег или людей изысканного вкуса и увлеченных искусством, нежели у благочестивого простолюдья, хоть оное так любит изображать. Он сам виновен в этом отступленьем от традиций и канонов, дерзким своенравием и неповиновением во всем, от жизни до искусства и истин веры, к которым он, как не пытался бы лицемерить и прятаться, смеет прикасаться собственными, нашептанными Искусителем помыслами и суждениями, а не строго предписанным веками Святой Церковью образом!.. О, слишком хорошо Святая Церковь знает дело и воспитывает паству, чтобы позволить той увлечься сатанинскими обольщениями и каковы бы ни были талант, блеск света и красок или похожее – почитать осуждаемого ею и попирающего каноны веры и искусства!.. Здесь же он в одно мгновение бы стал законным, а потому признанным, великим и почитаемым – лишь покорись, яви мудрость и готовность учиться ей, то есть подчиняться и следовать принятым, общим для всех и святым истинам и правилам! Путь этот мы раскрыли перед ним – по христиански и с уважением, милостиво… Кто этого не понял бы? Кто рядом со слепцом или глупцом не объяснил бы, буде тот и вправду бы не понял? Он не может не понимать, что путь к признанию паствы и толпы лежит через законность, а значит – благословение Церкви и подчинение канонам веры и искусства, которые диктует Церковь, над умом и душой, вкусами и нравами паствы властвующим. В одно мгновение готовы были мы даровать ему благословение, законность, почитание и признание – всех и каждого, от давних и плюющих завистью и злобой недоброжелателей из числа коллег до простецов, идущих на молитву и исповедь! Его имя стало бы легендарным не скандалами и осуждением, а почитанием – лишь покорись и соблюди канон, яви этим благую расположенность к Господу и Церкви души, признай дисциплину и необходимость ей повиноваться! Яви верность Церкви и забудь ересь, что вместе с гениальным даром и минутами прозренного служения вере и Господу, льется на полотна! Яви не под пытками в темницах, а созиданием и даром Господним, обретая заслуженное признание! Образумить его мы хотели истинно по Папски и следуя христианским заветам – не мечом, а прощением и мудростью, любовью и наставительным отеческим увещеванием, дав почувствовать заказом Мадонны для Сан-Пьетро великую ответственность перед Верой, Церковью и Делом Христовым! Заставив так его разумно покориться, обуздать нрав и суть, преодолеть дьявольские искушения и соблюсти канон, явив этим свет истинного служения Господу и Святой Матери Церкви. Ведь Сан-Пьетро – сердце веры и христианского мира, и право разместить там полотно – честь в той же мере, в которой великая ответственность, требующая дисциплины и покорности, верности канону, способности целиком поставить дар, ум и душу на служение Господу! И как же еще лучше возможно сделать это, если только речь идет не о последнем безумце, от которого целиком отступился Господь?! Как достойнее можно было проверить и испытать этого человека, которому Господь отпустил огромный дар?**

**Ордолизо. Ваше Святейшество явили здесь мудрость по истине небывалую и милосердную, заповеданную Господом!**

**Папа Павел V. (*с гневом продолжая*) И что же?! Самым благим нашим намерениям он откровенно и дерзко плюнул в лицо! Он написал Мадонну с Младенцем, топчущим змия-Сатану и Святой Анной, словно это не один из ключевых сюжетов и символов веры, призванный учить ей и идеям Надежды и Спасения, последним тайнам и истинам Господнего мира, которые вера и Учение Церкви открывают, а обыденную сценку, подсмотренную им в каком-нибудь римском дворе! Словно не должно полотно на такой сюжет просветлять, выверенными и возвышенными, полными ясности и священного пафоса символами учить чуть ли не главным таинствам, на которых стоят ум, душа и жизнь христианской паствы! И можно писать его, не строго следуя канону, а словно бытовую сценку детской забавы, за которой присматривает мамаша! Да как сделал это, о Господь! Снова и словно в насмешку не только надо мною лично, поставленным блюсти Святой Престол, но над верой, Церковью и самим Господом, написал Мадонной эту его известную всему Риму шлюху, а Святая Анна вышла похожей на торговку апельсинами, пришедшую с Кампо-дель-Фьоре прямо на полотно, предназначенное висеть в Сан-Пьетро! Нет, вы понимаете! Он оскорбил, продуманно и дерзко! И должен заплатить, иначе пагубный пример нашей слабости и снисходительности выльется в бурю ереси и неповиновения, дерзости еще большей! И пусть не говорят мне, что это так, ибо просто таковы его метод и нрав, либо же он бездарен и не умеет писать иначе, кроме как с натуры, целиком ее, со всей ее грубостью передавая! Он живописец дара огромного и не желает претворять и возносить натуру, чтобы с помощью ее приобщать святым истинам и миру «горнему»! О нет, в нем живописец-еретик воздовлел над человеком и христианином, который должен помнить, для чего он пишет и какие возвышенные, призванные дарить благо и приобщать вере и церковному учению цели в этом преследует! Он живописец, который должен работать над отпущенным талантом, чтобы ставить тот на службу Господу, Вере и Церкви, причем так, как предписано традицией и каноном, в этом путь учения! Этому научили бы его в Академии, смири он нрав в самом начале и покорись канону и традиции, пути художественной мысли, который те диктуют! И этому пытались учить его еще прежде мудрые и признанные наставники, которых он лишь оскорбительно отверг! Этому – не мастерству и ремеслу даже, а пониманию того, как писать и воплощать сакральные сюжеты, во имя чего дарован художнику талант и чему должен служить! Пути мысли и искусства, единственно верным идеям и горизонтам в нем, которые означают школу, традицию и канон! Академизм, который с благословения папского престола уже дюжину лет ревностно отстаивает Цукарро – это каноны высокого искусства, продуманно поставленного на службу вере и ее истинам, делу Святой Церкви, выверенный путь в искусстве и художественной мысли, от которого отступать, как от самих истин и догматов веры непозволительно… О нет, он не смутьян с грубыми вкусами и испорченным даром, которого просто не научили правильным представлениям о целях и путях искусства, верной живописной и религиозной мысли! Он вовсе не бездарный и грубый умом и душой раб натуры и низкой жизни, иначе не умеющий писать и просто оскорбляющий этим священные сюжеты, к которым прикасается, о нет! Он не то что бы не умеет, а не желает и не считает нужным обрабатывать натуру, дабы суметь ее языком и средствами прикоснуться к миру истин веры и святым господним высям! А если и не умеет, то только поэтому и не желая учиться, но не в недостаточности божьего дара! Таков его подход, за который он борется, становясь еретиком и хулителем! Такова его мысль живописца и человека, означающая погубленную душу и происки Искусителя, дерзкую ересь, в которой он безнадежно закоснел! Его и вправду не научили в свое время, как правильно художественно мыслить и писать, трактовать и воплощать священные сюжеты, ибо не сумели обломать и подчинить общим правилам. А теперь конечно же поздно – он закосневший и опасный еретик, в руках которого небывалой силы орудие. Он мог учиться у коллег единственно верному пути в том, как прикасаться даром кисти и языком натуры к миру «горних» и священных истин. Он не желал и то, что ныне преподносит в качестве церковной живописи и искусства на священные сюжеты – это ересь и оскорбление, бросаемое в лицо Церкви дерзко, откровенно… прямо! Он не желает вынашивать в душе и воплощать кистью те священные образы Веры и Учения, которые канон Церкви предписывает и диктует однозначно – от сути их и с ними связанных событий и поступков, до того, как выглядеть они должны на полотне. Он не желает для этого работать мыслью и душой, искать, как претворить натуру и построить образы Святых, Господа или Богоматери так, чтобы с содрогающей силой и служа делу веры, несли они предписанные смыслы и идеи. Он низвергает небеса на землю, превращает святых в людей с их чувствами, вполне удовлетворяется образами земной, обычной и часто грязной жизни, о горних же истинах и смыслах знать кажется ничего не желает, подменяя одно другим. Его упоение низкой жизнью и натурой – ересь, дорогой мой Ордолизо, не только в благородном искусстве живописи, для дела веры важнейшем, но что хуже и важнее, в самой вере, в том, как мыслит он ее и ее истины… И то, что поначалу казалось причудами огромного таланта, словно болезнь подхваченными у северных художников с их реформистской, назревшей в их полотнах даже раньше, чем в тезисах Лютера ересью, стало ныне именно открытой и дерзкой ересью, бунтом… И он позволяет это себе, якобы просто отстаивая собственный подход художника… Что же, одно в его случае тождественно другому, и судьба его станет пусть расплатой…**

**Ордолизо. О, Ваше святейшество! Гнев ваш столь справедлив, что я уже киплю им в собственной душе и жду указаний, дабы воплотить его в конкретных мерах!**

**Папа Павел V. (*продолжая, извергая возмущение, цепь событий и выводы*) Два дня лишь провисело полотно, чтоб после неизбежно отправиться в чулан. Роптали все – от простых благочестивых пилигримов, ползущих на коленях по ступеням, до настоятеля, епископов с аббатами, обычных зажигающих свечи служек и моих собственных помощников, ибо иначе для праведных христианских душ было невозможно. И если противоречивость в его полотнах до этого дня еще сохраняла какие-то сомнения, вселяла надежду на спасение для Господа и дела Того таланта и заблудшей души, то после сомнения отпали. Он не божий человек и даром своим служит не Господу и Церкви, а Вельзевулу и ереси. О, он не просто необузданный нравом смутьян и скандалист, желающий перечить, ради одного лишь задора и от дурной, так и не пересиленной за жизнь натуры! И канон попирает откровенно совсем не поэтому! Святая Церковь и соборы, полотна с образами Апостолов, Господа и Богоматери-Девы – что, смрадный кабак, где еще быть может позволительно затеять драку и поскандалить? Он что, не понимает, какова неотвратимая цена подобной, совершенно бессмысленной глупости? О нет, не стоит ни обольщаться, ни питать напрасные надежды! Он не глуп и знает, хорошо знает, что делает, позволяет себе оскорбительную и святотатственную дерзость по уму и в решимости. Он еретик, который сомневается в великой и изначальной, нерушимой в веках миссии Святой Церкви – быть заступницей и посредницей между человеком и миром «горним» и Господним, Спасителем и Богоматерью, нести истину веры и учения Христового и вкладывать ее правильным образом в умы и души. Он еретик, который даже не сомневается уже в авторитете и власти Святой Церкви, а ниспровергает их и откровенно пытается делать это, отступая раз к разу от канона с дерзостью немыслимой, а совсем не по ошибке, нраву или недоумию! Знайте, извращенность его художественной мысли, где та касается трактовки и воплощения святых сюжетов, со всей его привычкой окунать паству, жаждущую увидеть и прочесть возвышенные истины веры, которые разъясняет Церковь, в грязь и образы мирской жизни – это его впавшая в ересь душа, особенность его изувеченного человеческого ума и того, что во власти Искусителя он наверное считает и называет верой. Он падшая и погубленная душа, которая силой дара способна вовлечь в бездну искушений многих, очень многих – верьте мне, дорогой Ордолизо! Он еретик, который быть может увлекся Реформацией или же просто, подобно последнему безумию философов-отступников, смеет думать и судить об истинах и заповедях веры собственным образом, но в любом случае – на авторитет, благо и интересы Святой Церкви посягает. И учитывая гений кисти – страшно. Короче, он не наш человек, опасен, учиться мудрости и покоряться не желает, отношения к нам не имеет и не должен иметь никакого.**

**Ордолизо. И, Ваше Святейшество?**

**Папа Павел V. Настает время не увещеваний, а сурового и поучительного Меча возмездия Господнего, способного наставить истине многих. Вопрос лишь в подходе и конкретных мерах, относительно которых я несколько теряюсь…**

**Ордолизо. (*принимая инициативу и разговор в свои руки*) А почему бы, собственно, Вашему Святейшеству, имея такие очевидные основания, не отдать его на суд Святой Инквизиции?...**

**Папа Павел V. (*недоуменно и брезгливо морщась*) О чем вы, любезный Ордолизо? Вы дурно чувствуете себя? Живописца спустить в подвалы с «испанским сапожком», заточить в них или сжечь? Да вы смеетесь глупо!.. И еще такого, столь глубоко вошедшего в умы и написавшего немало невиданных вещей… Я признаться удивлен. Такой скандал лишь оскорбит Святую Церковь, а не защитит ее правоту и интересы. И он же всё-таки не тот философ-еретик, который богомерзкие измышления печатает словами на бумаге, вину свою доказывая ясно и бесспорно… Он бывал в подвалах Сан-Анджело, и не раз, но всё же… Да и настолько мы привычны веками ценить господний дар писать живое и небесное… Анафему ему мы объявить не можем, для этого нету очевидных причин, а заслуги его в церковной живописи всё же велики, нас просто не поймут… Гораздо проще объявить его безумным, но и это кажется не то… О нет, тут надобно иное, суровое и поучительное разом, быть может даже более жестокое!..**

 **Ордолизо. (*весь присобравшись и превратившись в одно напряженное восприятие*) Ваше Святейшество вселило в меня одновременно ощущение вины за собственную глупость и трепет перед Вашей волей и планами, которые пока остаются для меня загадкой…**

**Папа Павел V. Я поясню. Поможет нам его безумный нрав. Его необходимо спровоцировать на тяжелый публичный проступок, дорогой Ордолизо… На такой проступок, как к примеру убийство… Либо же, если почему-то нрав его не позволит совершить грех в необходимое мгновенье, так всё обставить умно, будто он виновен.**

**Ордолизо. (*благоговейно и с восхищением, склонив голову*) Я понимаю!..**

**Папа Павел V. Нет, еще до конца не понимаете… Такое развитие событий даст нам очень многое. Справедливый приговор, который поставит преступника вне закона. Обречет его скитаться, отвратительно бежать, скорее всего приведет к гибели. Словно проклятую и ничтожную собаку погонит его… И поучительно отвратит от его искусства и судьбы, показывая, как Искуситель способен погубить быть может подлинно великое… Возможно, если суждено будет ему избежать гибели, заставит всё-таки поумнеть. И тогда – позволит нам даровать прощение, если сочтем мы это приемлемым и необходимым. Однако, это станется навряд ли… Он неисправим, скорей всего… И нам живым поэтому не нужен. Слишком много вреда и опасности. А кроме того – мне говорили, что он слабеет телом и здоровьем, неотступно. И это вдвойне лучше. Сгноить его, вытянуть скитаниями силы, довести до справедливого, безжалостного краха… Проклясть и сгубить заживо. Испугать и отвратить этим от него и его искусства многих. А научить – еще большее число тайных строптивцев и смутьянов. Что может быть унизительнее, нежели подобно собаке бежать от доноса или первого попавшегося кинжала, в таких мытарствах ослабеть и сгинуть? И что же поучительнее такой судьбы? Вина всецело будет лишь на нем… Он просто пал во власти столь знакомых всем страстей и дикого нрава. Сам себя сгубил, а Святая Церковь и папская булла стали лишь справедливым орудием расплаты и Судьбы. Он опаснее еретиков, печатающих книги и с ними сгорающих. Его речь еретика, обращенная и говорящая обольстительной силой образов и гениального мастерства, способна навредить гораздо больше, верьте мне. Ведь эту речь, в отличие от напечатанного на бумаге очень сложными словами, понимает почти каждый, а кто убог образованьем и умом – ощутит душой, что еще страшнее. Он стал занозой, которую надо вырвать, ибо она грозит гангреной, хоть внешне может быть так и не кажется. Он должен умереть и пропасть, Ордолизо. Но не героически, о нет, а отвратительно и гадко, как гонимая собака и безусловный преступник, виновный сразу перед всеми – Господом, талантом и людьми, Церковью и христианской верой, служащим вере искусством, с путей которого и самой веры сошел! Всё погубил он во власти Сатаны – так должен думать, понять и выучить каждый. Имя Караваджо должно вызывать не восхищенье и желанье подражать, а отвращение и ненависть, причем не провозглашенной нами анафемой, но глупостью и совершенным в ее власти низким преступленьем, которое поставит его на одну ступень с последними подонками, томящимися на галерах. Он должен стать отвратителен, Ордолизо… всем. Властитель тайный и могучий дарований, кумир бунтарствующих умов и душ, их разложитель, он должен сгинуть и пропасть именно так – безжалостно и медленно, унизительно, вызывая не сочувствие, а проклятия и отвращение. Его концом и судьбой повергая в священный ужас, заставляя содрогнуться и перекреститься, а так же поучая. Должен он сгинуть не как еретик и тайный герой, якобы задушенный репрессиями Церкви и Святой Инквизиции «борец свободы», а именно низким, гадким и вульгарным злодеем, погибшим и предавшим божий дар во власти страстей, превращенным поэтому в гонимую собаку и вызывая гнев и отвращение… Вы поняли меня?..**

**Ордолизо. Благоговею перед вашей мудростью, Святой Отец. А так же перед мудростью Господа, избравшего вас нести нелегкий жребий Его Дела и хранить Престол Святого Петра.**

**Папа Павел V. Я дал вам идею, как решить вопрос. В целом. Однако, видите ли вы ее практическое воплощенье?**

**Ордолизо. О да, конечно! Это будет очень просто. Об этом Вашему Святейшеству не доведется беспокоиться. Организовать подобное доступно в считанные дни, лишь прикажите. Возможно, однако, что желаете Вы дать ему еще немного времени одуматься и проявить себя? Ведь дар его и вправду велик…**

**Папа Павел V. (*веско, сурово, не допуская возражений*) Время его вышло, Ордолизо. Я так решил. А волею моею – сам Господь.**

 ***Ордолизо почтительно склоняется, целует руку и уходит.***

 **Картина VI**

***Развалины терм Караккалы, недалеко от Аппиевой дороги, невзирая на почти кромешный мрак безлуния, проступающие громадой на фоне полночного неба. Караваджо один и слабо освещен огнем небольшого костерца в выемке стены.***

**Караваджо. О боже, не могу поверить, всё рухнуло, в одно мгновение! И я даже не понял, как это случилось… Словно бы всё произошло само собой и помимо моей воли, а властвовать над тем, что совершаю, я был не способен… Как словно бы даже не мог понять умом, что делаю и желаю, власть порыва понесла меня и разом, на собственных же глазах погубила… Я ничего дурного не желал и не думал, в прекрасном настроении духа, столь редком для меня, решил развлечься, поддавшись уговорам соседей и даже не особенно сопротивлявшись… А дальше – всё произошло само собой, я и не понял как, словно чья-то рука вела меня властно, заставив ослепнуть и превратив в своего раба… Всё рухнуло, а я не могу поверить… Никак не получается уложить в уме страшный факт, словно вместивший в себя жизнь судьбу, прошлое и будущее, какое оно еще было, меня самого с тем, что дано было мне сделать и таилось во мне… Словно долгое время крах зрел на моих ослепших глазах, и в считанные минуты, не понятно как случившиеся, просто стал Судьбой и совершился… И не могу поверить, схватить умом… Еще несколько часов назад была моя достойная, полная планов и замыслов, любящих и верных друзей, прочности обстоятельств жизнь, а ныне – лишь мгла и бездна разверзаются перед глазами и ногами, да смерть дышит из мерцающего кольцами мрака в лицо, ибо неизвестно, что теперь будет со мной и как сложатся судьба и даже самые ближайшие дни, но последствия нескольких, словно во сне или памороке безумия промелькнувших минут понятны и будут означать приговор, гонения и обреченность вновь бедствовать, скитаться и бежать… Утратить всё. А в душе, помимо ярости и страха – одно лишь непонимание, неверие и не способность принять, что бывшего лишь пару часов назад, казавшегося нерушимым и словно олицетворяющим мою борьбу и победу, более нет, есть же только руины да мрак и бездна неизвестного даже в самых ближайших метрах пути… Всё рухнуло… как, почему? Что случившееся означает, кто виноват? Проклятый нрав мой? А может – чьи-то происки, умело на нем сыгравшие?.. Случилось то же, что было уже в моей жизни дважды… (*чуть ли не кричит с яростью*) То же, но ведь всё-таки не то!! Лишь похожее, словно бы кто-то, зная страшные и давние загадки моей судьбы, написал по ним короткую пьесу и заставил меня помимо воли в ней сыграть, этим погибнуть и потерять всё, стать обреченным пропасть! Случившееся только похоже, но представят всё конечно именно так, будто вновь Караваджо поддался власти страстей и гнева… Это и впрямь так, но в третий раз тем же самым не кончилось… Совесть моя чиста в этот раз точно так же, как и в два предыдущих, когда я по справедливости довел дело до кровавого конца… (*заходится в долгом и тяжелом кашле, сворачивается поэтому клубком и с трудом приходит в себя*) Одно мгновение, короткий вихрь лихорадочно замелькавших и понесшихся событий – и погибло всё. Всё целиком. Огромно и объемно слово «всё»... Наиболее абстрактно и потому вмещает в себя именно всё, о чем только не подумай и не пожелай сказать – мир, жизнь, былое и поступки, грядущее и душу человека с ее тайнами и глубинами, подчас ему самому не понятными лабиринтами… Предстоящую неумолимо смерть и любое из полных загадки, неповторимых мгновений жизни, способных оборваться ею… Данное глазам и способное взволновать, небывало вдохновить ум и вместе с оным – кисть, ибо полно бесконечных смыслов, которые сокрыты, манят пугающим мраком тайны и надеждой познать истину, сделать их в уме и образах полотен ясными… Всё, что есть и означает предстоящее глазам и в мгновениях, но еще более этого – сокрытое, манящее тайной и должное быть постигнутым, сколько отпустил Господь благоволения и сил ума. «Всё» – это всё. Ему равно лишь «ничего». Бесконечная и мрачная пустота, где ничего нет, с юности разворачивавшаяся в мыслях и так меня страшившая… Даже «никогда» уступает и меньше, ибо перед рухнувшим будущим и погибшими в нем возможностями и надеждами было прошлое, где они быть может расцветали, властью которого продолжали жить в человеке… Однако, даже слово «всё» не способно сейчас разъяснить уму страшную суть произошедшего и вместить в себя то, что рухнуло и погибло… (*шепчет после паузы, словно заведенный*) Всё рухнуло, всё… Добытое в борьбе и жертвенных, адских и подчас словно целиком сжигавших и забиравших трудах, когда только прикорнуть кое-как возле растянутого холста, чтобы с первыми проблесками света и сознанья, с самыми первыми, возродившимися из ушедшего навсегда дня мыслями, вновь встать и прильнуть к ним, с мукой оставленным перед сном, отказывая себе бывает до нового наступления мрака в еде… Всё рухнуло… За долгие годы в одном и другом, а так же в поисках, риске, конфликтах, разных и казавшихся бесконечными испытаниях, страданиях и мытарствах обретенное… Дом, будущее и надежда… определенность обстоятельств… (*возвышает голос*) близость самых надежных и понимающих людей, возможность работать… всё, всё, всё! В молодости, чтобы отстоять свободу и собственный путь в искусстве, суметь тот вообще обрести, не щадя глаз, ума и попыток кисти, я бежал из домов банкиров, кардиналов и различных деляг, пускался в бездомность и скитания, делил сон с нищими или загадочно осеняющим светом луны, томил тело холодом и голодными коликами! В те годы, пока силы еще били ключом и через край, я дрался и убивал, ибо перенести перед собственными глазами оскорбление достоинства и свободы, чистоты господней в душе не мог! И оттого тоже нередко вынужден был бежать, скитаться и гнить в тюремных подземельях… (*кричит*) И вот, прожив больше половины жизни и в том возрасте, когда смерть близка столь же, сколь тело слабеет и лицо бледно, а кровь из него будто выходит вместе с кашлем и кусками потрохов, я, бесконечное кажется сумев преодолеть и пройти, но всё в одно мгновение потеряв, вновь должен буду ради права на свободу в жизни, вере и искусстве, свободу духа и ума, пуститься в скитания, бега… Только на сей раз не от заточения и суда, а от самой смерти! Обречен на крах всего и гибель!! И случилось это, когда силы тела, в отличие от сил души и духа, меня на глазах покидают, а главное и самое трепетное и важное, быть может, так и не сделано!! *(вновь заходится в приступе кашля с кровью*) О боже, что это за мир и где Ты в нем, осеняешь ли его когда-нибудь хотя бы взглядом?.. Всё рухнуло, а поверить не могу… Свобода моя погибла, столь ненавистная всю жизнь окружающему миру, но тем не менее завоеванная трудом и борьбой… в жизни, в мысли и искусстве, от той неотделимом… в поисках. Жизнь рухнула, судьба… Осталась лишь проснувшаяся с ранней молодости и обреченная быть со мной до конца дней решимость бороться, сколько хватит сил… А как – посмотрим… И всё нажитое в уме и опыте – это тоже никуда не денется и дарит надежду.**

**Голос из мрака. Учитель!**

**Караваджо (*вскакивая*) Бартоломео?**

**Бартоломело. Да, я. И все со мною.**

***К костру выходят из мрака развалин ученики Караваджо – Бартоломео Манфреди, Марио Дель Фьоре и Спада, а так же Элен*.**

**Бартоломео. (*бросаясь на Караваджо с объятиями*) Вы в порядке, слава богу!**

**Караваджо. (*с плачем и обнимая после Дель Фьоре*) Друзья мои!**

**Спада. Дон Микеле!**

**Караваджо. (*стискивая в долгих объятиях Элен*) Да, брат! (*целует Элен в лоб, волосы и щеки*)**

**Элен. Ты целуешь меня?! За все эти годы, любя и знав любовь ответ, не поцеловал и не притронулся на разу, а теперь, во власти проклятого своего нрава совершив глупость и убийство, погубивший всё и вынужденный бежать целуешь, словно я тебе жена?!**

**Караваджо. (*отстраняясь от нее)* Я не убивал!! Верьте мне и знайте – я не убивал его!..**

**Спада. Но что же там случилось, Учитель, позволив всё же вам выбраться живым?!**

**Дель Фьори. Вы знаете, что Папа объявил вас вне закона и разрешил всякому, разом получив возможность хорошенько заработать и совершить благочестивый поступок, убить вас?!**

**Караваджо. Да знаю… Папские глашатаи стали зачитывать буллу и кричать об этом на римских площадях даже прежде, чем я успел добраться до Колизея и рощи, пытаясь скрыться, словно всё было заготовлено и только ждало часа… не выслушав меня, не разобравшись, не расследовав…**

**Бартоломео. Так что же там случилось? Почему вы стали вынужденным вступить в драку с тем человеком и его в конце концов убили?**

**Караваджо. О, проклятье чертово! Я его не убивал! Слышите вы? Верьте мне, если любите и считаете достойным человеком, а нет – так будьте прокляты и немедленно оставьте, идите прочь, безжалостно отдав во власть несчастий и грядущей расплаты! Двоих прикончил я за жизнь, обоих в Милане… Я до сих пор помню нанесенные им раны и лица их в предсмертных конвульсиях, так и непонимающих, что час настал покинуть мир и кровью, жизнью заплатить за совершенное злодейство! Ибо попытались они мальчишку с невиданным талантом живописца погубить, сделать вещью для дьявольских утех, воспользовавшись возрастом да слабостью и бедностью его... Я бежал тогда, скрывался, не испытывая даже тени раскаяния… А сейчас прошу – верьте мне, не моя шпага выбила из тела этого ублюдка Томаззони жизнь! Убил, считая это должным – не постеснялся бы признаться перед Вами!**

**Все. (*наперебой*) Так что же там случилось?!**

**Караваджо. Я не знаю… До сих пор сам не могу понять… Мы выигрывали в мяч, я был в отличном настроеньи духа… Вдруг он начал, словно бы в отместку за неудачу в игре, оскорблять Элен… страшно, грязно… нестерпимо для души и ушей, верьте… Кричал, что быть ей шлюхой до морщин с сединами и все мои попытки вырвать ее и спасти от судьбы – я и вправду, полились тогда мысли, хотел дать ей возможность быть человеком, приблизить к свету и чистоте в жизни и в ней самой, сберечь в ней божье, властью мира павшее! – совершенно напрасны, ибо шлюха она сутью и желает жить в грехе…**

**Элен. Он был прав! Они напрасны, ибо ты сгубил их сегодня, навсегда и невозвратно!**

**Караваджо. (*словно не обращая внимания*) Что я делаю Мадонну шлюхой, со шлюхи, всему Риму известной пишучи, а не пытаюсь, как сам всегда думал и верил, раскрыть в человеке величие и несгубимость человечного и господнего – способного победить, несмотря ни на что! А дальше…**

**Элен. (*крича*) А дальше – дальше ты, проклятие мое и мой палач, истерзавший мне душу любовью к тебе и проснувшимися надеждами, подтвердил его слова и всё погубил, для меня и себя самого! Должен был сдержаться, понимая, что лишь пробует он на крепость нрав твой и специально провоцирует по приказу Папы, а не смог, и словно мальчишку позволил обвести себя вокруг пальца и ввергнуть в грех и преступление!**

**Караваджо. Папы?.. (*пораженный и затихая, садясь на камень*) О боже, я сойду с ума, не выдержу… Подобное закрадывалось в мысли, пока я пробирался вечерними закоулками сюда, но я не верил… слишком низко, грязно… *( к Элен*) Откуда знаешь? Точно?**

**Элен. (*со смесью рыданий, горя и издевки*) Точно, верь мне! Точнее некуда. Пока они бегали, искали лошадь и собирали деньги и поклажу для бегства, я заглянула к одному из недовольных папой кардиналов рода Медичи, услышала рассказ собственными ушами… (*обрушиваясь на него со всей силой*) А что ты думал себе, наглый безумец, на что рассчитывал, когда вновь написал меня Мадонной, да еще так дерзко, для личного заказа Папы? Разве не был ты множество раз предупрежден вот ими и мной, кучей других людей? А что ожидал, всё остальное делая, писавши меня тогда, во мраке ночи, Лоретской Мадонной и поступая откровеннее, чем многие спаленные на Кампо-дель-Фьоре еретики?! Ты думал – дерзость эту спустят тебе с рук, простят?! Думал, негодный и ничтожный, что смеешь делать в этом мире то, что хочется?! И что тебе это позволят, а удача будет к тебе вечно благосклонной?**

**Караваджо. (*крича*) Я не мог иначе, не мог!**

**Элен. О Мадонна, Святая Дева-Заступница – не ты, а Сатана тогда подарил мне встречу с этим безумцем! Он не мог! Ты не мог?! Что же – так теперь погубил всё, огромный свой талант и жизнь, ибо от преследования Папы Павла не спасешься… Любовь мою и душу, хоть может ты считаешь, что нет ни того, ни другого…**

**Караваджо. Я не убивал его! Я желал этого яростно и всем сердцем, рычал и порывался убить, просто не смог – споткнулся и упал, рядом с ним, на несколько мгновений утратив ясность взгляда и сознанья и ожидая, что он сейчас меня прикончит, но вместо этого услышал множество криков «Убил художник Караваджо невинного Рануччо Томаззони, мирно спорившего с ним!» А встав – увидел его, корчащегося в крови и предсмертных судорогах от удара чем-то острым в шею, которого ему не наносил я…**

**Элен. (*зло, с болью и плача*)! О глупец, да тебе и не нужно было этого делать! Рануччо был приговорен вместе с тобой! Ты должен был убить его, себя отдавши этим на расправу! А он, несчастный, поверил как и ты, должен был не соглашаться вызывать тебя на драку подобно тому, как сам ты был обязан, почувствовав недоброе, явить ум и опыт, уйти с игры немедленно и не заводиться! Но если ты и вправду этого не сделал или вообще не смог бы, конец должен был быть только таким! Он должен был убить тебя, либо сам погибнуть от твоей или же чьей-нибудь руки, чтобы стал ты в глазах Папы, закона и окружающих людей виновен! Он мог убить тебя, наверное – но сам был убит со стороны кем-нибудь из прихвостней церковников, ими тщательно науськанным, пока ты валялся, ибо цель была именно такова! Ты убил бы его или же кто-то сделал бы это якобы твоей рукой – не важно, ибо сегодняшняя игра могла закончится лишь так, как и случилось… А ты теперь для всех – проклятый и поставленный вне закона убийца и безбожник! Что, доволен ты, об этом мечтал?**

**Караваджо. (*хрипло*) – Ты точно знаешь?**

**Элен. О, мне ли не знать! Я что ли не дарю отлично этим скотам удовольствие, перед которым они не способны устоять!**

**Караваджо. Видать, что нет, ведь не предупредили заранее…**

**Элен. (*задетая*) Ах, негодяй! Да разве же возможен был другой исход для тебя?!**

**Караваджо. А что я должен был делать?!**

**Элен. Примириться! Согласиться жить, писать и играть по тем правилам, которые не изменить, ибо едины они для всех и таков мир, а дерзких и безумных жгут, либо же терзают многими годами по темницам! Ибо таков этот проклятый, освященный распятьями или чем-нибудь другим мир, в котором надо выжить и можно выжить только так – от многого отказавшись и отступившись, предав быть может вправду важное душе! Ты должен был сделать так ради своего великого таланта… Ради них, хотя бы, путь даже не меня, ведь что я для тебя…**

**Караваджо. (*беленея и сатанея*) – Ах, же ты чертова шлюха и продажная душа! Ты так за годы ничему не научилась и ни черта не поняла, падшего света в душе, к которому я в тебе обращался, так и не расслышала!! Однажды позволившая миру сломать себя и погубить, сделать вещью для торга и скотских забав, преступившая во власти обстоятельств и слабости последнее, так что кажется утопись – и то лучше и меньший грех, ты это конечно же понимаешь и принимаешь, о да! Это твоей душе близко, она не завопит адской болью и сгинуть в смрадной глубине Тибра не потянет! Ты так можешь, способна на такое, я – нет! Для меня это страшнее и хуже, чем погибнуть, ибо значит то же самое, что заживо умереть или спуститься в ад на обещанные сковородки! Ты многое понимаешь в жизни и таланте! Да мой талант погиб бы и вообще не состоялся, если бы я позволил себе такое! Я сам бы просто погиб, и потому не мог! С молодости чувствовал – хоть нужно и только так покупаются жизненные блага, покой и светлая дорога, надежность судьбы и ничего не стоящее уважение однажды покорившихся, сломавшихся и продавших, либо даже не желавших роптать, ведь ничего не побуждало, но не могу и именно по этой причине, ибо значит всё это гибель таланта, творчества, пути и самого себя, свободы! Гибель заживо и так, что проклянешь мгновение и сам факт, что жив еще, взвоешь с ненавистью и попросишь небеса себя забрать, чтобы не принимать греха на душу!**

**Элен. (*со слезами и глядя ему в лицо*) Так что же – теперь, свободный и гордый скиталец, невинный ни в чем убийца, ты погибнешь, с собою сгубив огромное и несчастную меня, которая умрет если не от любви к тебе, страха за твою судьбу и тебя ожидающее, то просто утратив те крупицы света и чистоты в жизни, которые хоть как-нибудь держали! Так радуйся же, гордый и свободный, перед Богом и умом своим безумным, дерзким, смеющем об истине, Господе и вере рассуждать и что-то мнить, ни в чем, как кажется тебе самому, не виноватый! А я и вправду растоптала, предала и преступила всё, кроме способности любить тебя!.. (*отворачивается отбегает в сторону и пускается в долгие, безудержные рыдания*)**

 ***Караваджо и остальные какое-то время застывают в молчании*.**

**Бартоломео. Должны вы были нас послушаться, Учитель, в случае с Мадонной для Сан-Пьетро… да и в иных – тоже…**

**Караваджо. *(хрипло, сдавленно и страшно*) Замолчи.**

**Дель Фьоре. Он прав Учитель.**

**Спада. Мы правы, дон Микеле.**

**Караваджо. (*еще более сдавленно, хрипло и страшно*) Замолчите! Что это – бунт?! Осмелились вы мне перечить, а не идти за мной, за мыслью моей и кистью… за истиной, что моя мысль раскрыла, душа же обрела силу, отчаянную решимость подтвердить открыто и не считаясь ни с чем, в делах?..**

**Спада. О нет, Учитель! Горе и боль за вашу судьбу, желание вам блага и скорбь любви к вам говорят в наших словах…**

**Караваджо*. (отвечая, но более самому себе*) Я не мог иначе… более не мог… Устал таиться, прятаться, бояться и скрывать себя, душить искания и обретенную в них истину, касающуюся как веры, мира и жизни, так и самого искусства… Свободу более душить не мог, она во мне роптала гневом и бунтовала, словно разрывала…**

**Элен. (*со своего места и продолжая рыдать*) Купайся в ней теперь, как беглая собака несучись по канавам и помойкам, закоулкам самим Господом забытых деревень!**

**Караваджо. Тот человек скитался большую часть жизни, не побоялся попасть в застенки Инквизиции, сражался долго, принял муки и сгорел в огне костра, под улюлюканье толпы и на моих, рыдающих глазах, под разрывавшие мне тогда грудь крики… Свобода обрекла его на это, дух и достоинство, любовь и жажда истины не оставили ему иного выхода, ибо иначе зачем было всё?! И я тогда почувствовал и понял, что однажды, быть может очень скоро, точно так же дойду до края и должен буду не испугаться, не предать свободу, достоинство и самого себя, чистоту господнюю в душе, что называем мы совестью, во власти страха… (*ко всем и крича, но твердо, словно утверждая что-то и приказывая*) Я не мог иначе, слышите, не мог, я должен был сказать вслух и в лицо им, что думаю и понимаю, чувствую в глубине души! (*тихо и оправдываясь повторяет*) Я не мог, друзья, просто больше не мог, поймите меня и простите…**

 **Дель Фьоре. (*тихо, с горечью*) Мы не виним вас, дон Микеле… Просто большое горе навлекли вы. Папа не простит Вас, тем более – если всё это сам подстроил, а вас заранее продумал так или иначе обвинить, чтобы сгубить и погнать по миру... Сгубили вы себя, ваше великое искусство… *(с нарастающим гневом и рыданием*), бесчисленные тайны мастерства и жизни, вами постигнутые… всё, что могли бы еще сделать и чему научили бы нас, пусть даже не раскрывая рта, одним своим примером!!**

**Караваджо (*словно взмоляясь*) Я не виноват, оставьте меня… Ни сегодня, ибо нельзя было стерпеть подобного, сил не было, ни все последние годы… Ведь просто больше не мог я молчать и встречать одни лишь поношения и плевки там, где творю действительно великое искусство, учу и пролагаю путь, очищаю души, приближая их к свободе и значит – к истинной вере, суть и заветы которой в свободе, совести и любови, а не канонах, церквях и догматах, минах и словах преступных скотов, что сами рабствуя, напутствуют и подчиняют с амвона толпы склизких душой и благочестивых лицами рабов… Тех самых, девочка, что написал я тогда с тобою, на суд твой отданных… Служим мы Господу и верим в него, когда творим и следуем свободе, деяниями любви и сумев расслышать в душе чистоту господнюю, сурово что-то требующую и называемую совесть, покаяние… решаемся жить и поступать именно так, чего бы не стоило… Разве эта истина не известна вам? Святые Апостолы были научены этой истине у Господа и ее хранили, Отцы Церкви, следуя их примеру, еще берегли ее в отличие от бесчисленных Пап, аббатов и кардиналов, ученых мужей после, превративших Церковь и Веру кажется в то, что от Заветов и Учения Господних, от божьего в человеке – с противоположной стороны…**

**Элен. (*бросаясь к нему с криком, обнимая и целуя*) Они имеют полное право сжечь и убить тебя, ибо ты еретик и говоришь страшное и лишь я, падшая шлюха и продажная вещь, могу любить тебя и люблю так, что готова с тобой пуститься в скитания или сгореть, откликаюсь на это умом и душой, способна расслышать в словах твоих истинное, божье и человечное, а не еретическое…**

**Караваджо. (*с подобием мудрой улыбки*). Оттого-то, детка, я настолько ценил тебя как модель и писал, стремился и считал должным писать!... Как модель любил и доказал эту любовь полотнами и вот – всей нынешней ситуацией…**

**Элен. (*с рыданиями*) Как модель?! Только как модель?! Говори при всех – лишь как модель для твоих ублюдочных Мадонн, ничем от меня и любых других шлюх вправду не отличающихся, в которых святости и мудрости, истины жизни и веры нет ни на грош? Меня ты не любил?**

**Караваджо. Не зли меня, дура, тем более сейчас… Стал бы я писать тебя и терпеть рядом, если бы не любил, не видел и не желал возродить и сохранить в тебе человека, не пытался твоему человеческому достоинству, отблеску в тебе человека и Богоматери служить талантом кисти!..**

**Элен. Любил? Ни разу не взяв и не сливши с собой в одно целое? Любил как муж и мужчина? Любил меня?**

**Караваджо. (*вскакивая и с яростью*) О Господи, какая же ты дура, всё-таки! Да, любил! И именно как муж, мужчина и человек, мудрый отец разом, хоть ты и не способна куриным своим умом понять! И потому – именно не притронувшись! Но нет у меня сейчас времени тебе всё это повторять, оставь! И перед всеми говорю – люблю и буду сейчас, скача на приведенной сюда лошади выть, расставаясь, изойду болью и тоской по тебе, обреченный быть может на вечную и до конца дней разлуку… Жить буду лишь надеждой на встречу и что поумнеешь ты до нее, отринешь грязь и подлость жизни, слабость собственной души, окажешься готова соединиться со мной полностью, жизнью и судьбой, телами… стать мне женою под венцом, а не только в любви и по сути, для души моей…**

**Спада. Так что же будет, Учитель?**

**Караваджо. Как что? Сломя голову и ноги бежать – нет другого выхода и это будет… станется через считанные мгновения…**

**Бартоломео. Гнев Папы силен, решил он свести вас со свету, дон Микеле, и потому быстро не успокоится…**

**Спада. (*с гневом*) Это вас, вас! Одно из величайших живописных дарований, когда-либо приходивших на землю Италии! И как подло, низко!..**

**Дель Фьоре. Да разве же могли вы, даже полностью ослепнув во власти безумия и порыва, совершить грех, подобное оправдывающий?**

**Караваджо. (*к Дель Фьоре и обнимая его за плечи*) Я совершил последний и самый страшный, расплатой за который во все времена были смерть, обреченность на гонения и отверженность, яд, крест или костер, удушье в тюремном подвале и прочее, одним словом – утрата права быть в мире… Я был свободен… осмелился и оказался способен. Так попытался и сумел быть человеком. Этого простить и спустить нельзя. Даже если бы я искромсал этого ублюдка-сутенера Томаззони в клочки безо всякого повода, сжег целый квартал, изнасиловал старуху или убил ради забавы невинное дитя, сделал то, что святые подонки под сенью распятий и верная, покорная им толпа творят зачастую открыто и без колебаний, словно совершая благодеяние, я не смог бы содеять в их глазах греха худшего и более страшного. А судьба и расплата – каковы они… (*самому себе*) Он хотел купить меня, лживый и подлый глупец, обольстить почетом и высшим благоволением, которое много дарит, а обещает – еще больше… Заставить так добровольно стать рабом, изменить себе, предать всё, что за долгие годы жизни, в борьбе и испытаниях, в муке мысли и страдающей, томящейся в темнице обстоятельств и лжи, но жаждущей смысла и света души, было обретено как истина – жизни, творчества, веры… истина в том последнем и сокровенном, что поступки и жизнь, творчество, изгибающие судьбу и путь, нередко бросающие их в бездну решения непререкаемо диктует… *(смеется*) Чтобы всё это я обменял на высшее признание и наконец-то обретенную законность… на милостиво дарованное право законно жить и писать, разрешенное и восторженное одобрение толпы, а не ее рабский, отрепетированный ропот, способный в любое мгновение стать поношением! Предав и продав себя… утратив так свободу, лицо художника и человека, погубив само творчество… (*к остальным*) Знайте, даже укоряя и обвиняя, что без свободы, однажды подчинив ум, душу и творчество лживым, уродливым канонам, которые грозя костром, крахом или застенками, бесчисленными бедами и прочим диктует мир – не создашь, погибнешь заживо, утратишь вдохновение и способность смотреть себе в глаза, возненавидишь себя за страх, который погубил и сделал рабом, заставил предать себя… Я понял это, ощутил трагически еще в молодости, когда талант, возможности и вся моя жизнь и судьба встали на край бездны, гибели, вопроса «а будут и состоятся ли вообще?» И никак иначе, даже желая, было нельзя… Стать и обрести путь, отстоять себя и свободу перед лицом мира и отданной в его власть жизни и судьбы, можно было только так – в борьбе и схватке, пойдя на конфликт и будучи готовым драться до последнего, платить любую цену…**

**Бартоломео. Вы должны были склонить шею, Учитель – во имя таланта, будущего и себя самого, пусть не ради нас!**

**Караваджо. (*свирепея*, *с яростью и словно в ответ ему*) И вот, прожив большую часть жизни, самое главное отстояв и победив, придя к схватке лицом к лицу, когда быть или пропасть, остаться свободным и сберечь себя, обретенное и расцветший талант, или же всё это утратить, позволить отнять и сгубить, погибнув самому, я должен был сломаться, покориться и подчиниться, а! Должен был во имя милостивого права жить и что-то отвратительно и лживо малевать, словно над самим собою и всей пройденной до этого в жизни и искусстве дорогой смеясь, покориться и завилять задом, предать себя, дать надеть на себя кандалы рабства и продажности! Это должен был сделать художник Микеланджело Меризи де Караваджо, который во имя долга совести и достоинства убивал, ради свободы и своего пути в жизни и творчестве, вере и познании – бросался в скитания и бездомность, сшибался в яростных схватках, становился силой дара и правдой творчества кумиром, оставаясь непризнанным и оплеванным, не пускаемым на законные и приличные пороги смутьяном! Это я, я должен был по его задумке предать себя – в приступе слабости, усталости или страха, купившись на обещание законности и признания, светлой и прямой дороги, а не натыканных на ней шипов и нарытых ям! Он думал, что в личном заказе для него и Сан-Пьетро я не осмелюсь, отступлюсь и не рискну, испугаюсь остаться свободным и верным себе, склоню шею и соблюду канон, напишу так, как они ждут… откажусь от истин в творчестве и вере, которыми жил до этого дня… Словно поставив перед последней чертой, он хотел запугать меня и считал, что я не решусь, не найду сил и мужества ее переступить… (*в ярости и с ненавистью кричит*) Все радости жизни, уже не молодой и теряющий силы художник Караваджо, признание и повальный почет, куча заказов и словно гарантийный вексель, что твои полотна не сожгут или погубят в сырости, темноте и пыли в чуланах, не отвергнут с поношениями и плевками, а сохранят навечно на стенах церквей и ватиканских коридоров – только предай свободу и самого себя! Всё доступно будет тебе, чего ранее не было, вправду важное или же подлое и отвратное до тошноты – лишь засвидетельствуй перед всеми, собственной кистью и из под нее вышедшим, лицом и продавшейся душой лояльность Церкви и Святому Престолу, аду, в который они превращают веру, мир и жизнь вокруг и похожей на осеннюю грязь, бездарной и ничего не стоящей глупости, которой становится благодаря их диктату искусство! Лишь предай истины в вере и творчестве, за которыми стоят словно бы вся собственная жизнь и судьба, пройденный путь, борьба и муки, скитания, бездомность и холод, множество испытаний и месяцами царившее чувство голода, труд и бессонные ночи, часто проходившие в памороке вдохновения и похожие поэтому на ночь, отданные полотнам и поискам дни! Просто отступись от того, в чем словно бы сам ты и собственная душа, свобода и вечно движимые ею ум, кисть, талант! Создай Мадонну не образом любви, духа и свободы, которые сохраняются и способны раскрыться в человеке, невзирая ни на что, не обвиняющей и обличающей ложь, которая ее именем вершит адское, а склизкой от возвышенности и верности канонам химерой, всё это словно бы благословляющей! Не плюнь в лицо лжи и канонам, последней и облеченной в маски веры подлости, которым хотят подчинить тебя вместе с легионами благочестивых и трусливых рабов, а склони шею, получив взамен завидное! Лишь хотя бы один раз, чисто символически покорись, откажись от бунтарства и свободы, склони шею и напиши не то, что желаешь и считаешь истиной, а ожидаемое от тебя и так, как положено – словно из предательства и рабства, пусть даже единожды замаравшись в той же лжи, подлости и грязи, что и все, можно вернуться! Словно после этого что-нибудь вообще может иметь смысл и быть нужным, родится в душе и напишется! Словно хоть что-то, кроме ненависти к жизни и самому себе, ты будешь обречен потом испытать, вплоть до гибели и адского огня в душе! Он решил поставить меня перед тем же выбором, на который я обрек моего Матфея, считая, что я – слабое и трусливое ничтожество наподобие Рикардо Франделлли или легиона продажных церковных писак, если и желающих подчас взбунтовать и бороться за что-то, то точно не способных во имя этого мытарствовать, мучиться и рисковать! Способное поэтому в страхе продаться, склонить шею и совершить «правильный» выбор! Что ту грань страха и покорности миру и судьбе, которая вечно отделяет мрак и муки безликости от свободы, права быть собой и света надежды, спасения и быть может страшных, но придающих достоинства и сил испытаний на пути к этому, я переступить не сумею!..**

**Элен. *(плача*) Переступил? Доволен? Цена тебе теперь ясна?! Ее ныне заплатишь ты сполна, желаешь или нет! Всё погубил – мои и собственные надежды, их таланты, которые уже не смогут у тебя учиться… множество чудесного, что мог бы еще создать, обрести, постигнуть, передав другим! Так лучше?!**

**Караваджо. (*ко всем*) Да как вы смеете в такие мгновения обвинять меня и словно свора собак, а не друзья и близкие люди набрасываться! Дело сделано, но я не жалею и не склонюсь! Свобода ненавистна и враждебна им – я понимаю! Свободу они хотели заставить меня предать, подчинившись лжи и насилию мира, предав и погубив самого себя – пойму и это! Но как же вы, любимые друзья не можете понять, что я на это был не способен, ибо значило бы для меня это именно тоже самое, что погибнуть, сначала заживо, а потом неумолимо сойдя в могилу! *(к Элен*) Бартоломео, Спада и Дель Фьори, множество иных, что подражают и увлеклись – пусть сами мыслят, учатся и ищут, как я делал это с лет, гораздо более молодых, собственный путь обретая в той же мере, в которой постигая чьи-то свершения! Ты же надежды, свет и чистоту в жизни дари себе сама, силой души, решениями и борьбой, как это только вечно и может быть! И хоронить меня рано, я еще поборюсь и напишу, вы увидите! (*после паузы*) Этот сидящий на вершине земной и церковной иерархии, словно олицетворяющий ложь и зло мира убийца, тиран и негодяй, превращающий вместе с легионом подобных веру и Господни заповеди в то, что от них с другой стороны, прежде, чем меня погубить, вынести мне приговор и сделать участь и судьбу мою, какими они стали сегодня, решил попробовать купить меня и проверить, способен ли я, если не под кнутом и в одном лишь страхе, так ради облитого медом пряника подчиниться, продаться, стать рабом и подобной ему и многим лживой собакой! Откажусь ли от свободы и того в жизни, творчестве и вере, что она неумолимо, безжалостно и непререкаемо требует! (*кричит*) А я, суть дела и нагрянувшего испытания понимая, нашел в себе силы рискнуть и всё равно сказал правду, сделал то, что считал должным сам! Создал Мадонну такой, как уже давно вижу ее и саму веру! Остался верен в жизни и творчестве свободе, правде и бунту против лживых законов, канонов и правил, даже когда пристально глядя, одновременно угрожая, готовясь погубить и обольщая, меня проверяли – покорюсь ли, продамся ли и согну шею, принуждали к этому и ждали… (*после паузы*) А я остался верен свободе… чему так или иначе был верен всю жизнь, в нешуточных терниях и бурях, конечно же – не готовый предать и отступиться напоследок… И вот, теперь заплачу… А вы обвиняете меня вместо того, чтобы подарить последнее счастье уважения и понимания… что же… Разве не рассматривали вы мой «Поцелуй Иуды» так и эдак, тайно и при мне, быть может сотню раз?**

**Бартоломео. О, да!**

**Спада. Чудесная, самим Господом написанная вашей кистью вещь!**

**Караваджо. И что же поняли вы?**

**Дель Фьоре и Спада. (*сливаясь*) Свет, дон Микеле, ваш свет! Он ключ ко всему!**

**Караваджо. Слепцы, глупцы… хоть и любимые друзья, дороже и верней которых нету! Расстаемся мы в эти мгновения быть может навсегда, без надежды хотя бы еще раз в жизни друг друга обнять и увидеть, сохранившись друг для друга лишь в сердцах, дрожащих любовью, да склонных к расплывчатости образах памяти, а вы кажется так и не поняли главного… Святой Иоанн, словно закрывающий Господа от настигшей судьбы – это один довольно знатный римлянин, который точно так же бросался на моих глазах к всаднику в кирасе и шлеме, видать большому папскому стражу, грозившему в запале скачки размолоть копытами ребенка… А Господа Иисуса вы помните – им был один отвергнутый орденом францисканский монах, скитавшийся и бедствовавший, подобно мне самому в молодости… Правда и дыхание жизни в их образах, перенесенной в них натуры, означающей лица, встречи и события, создают силу нравственного и религиозного чувства необычайную, вплоть до содрогания… И ни чуть не меньше, если даже не больше чем свет, с ним об руку. Однако, и с ним об руку они служат одному – выразить те мысли, которые я обрел, проползая грудью по острым камням судьбы, решений и поисков, желал выразить и увидел в сюжете Евангелия… Без них и их правдивой речи ни что не имеет в этой картине и многих других смысла, а сами полотна не стоят ничего, хоть сияй светом живого Господнего чуда… Так что вы поняли об этом полотне? Что я хотел сказать? (*после всеобщего молчания*) Вот доказательство того, что понимать возможность нам дарует опыт, а путь к нему – страдания, решения, опасность… борьба и торжество над страхом… риск, конфликты и бесконечность остальных трагических вещей, в которых смели вы меня только что обвинять… Словно я виновен что человек и стремлюсь свободой, любовью и чистотой совести быть верным Господу чадом и творением его, а не проклятый мир, который вечно не оставляет на это права… Святой Апостол Иоанн словно старается собой и воздетыми руками защитить Господа и Учителя от пришедшей судьбы, которая разит и губит не только закованными в латы ландскнехтами, но еще и льющимся светом… Да, он в картине голос и олицетворение ее, вершащегося по ее воле и Господнему предначертанию события, оттого в нем такая сила… А сам Господь Иисус, Сын Божий, принесший не просто Спасение, но муки и вместе с ними – завет свободы, совести и любви, еще прежде, чем стражники вынули путы, сложил и подставляет под них руки, ибо готов принять страшную, но полную смысла и неотвратимую судьбу, пройти начертанный самой его сутью путь. Свобода, глупцы – это вот такой страшный ценой и муками путь, который невзирая ни на что надо принять и пройти, чтобы быть человеком и подлинным дитям божьим… судьба и часто крест, не просто испытания, а гибель… И чтобы не было уготовано и не ждало – смерть, испытания и унизительные пытки бегства и лишений, надо идти, ибо никак иначе быть человеком не выйдет… А будучи им – не получится предать, иначе ждет гибель и гораздо худшие, чем она, на нее обрекающие муки души и духа… Я был свободен и свободным остаюсь, а случившееся ныне – лишь подтверждающая это, выданная мне страшным событием и обрекающая на смерть булла…**

**Спада. (*с плачем обнимая Караваджо*) Дон Микеле, мы не обвиняем, а лишь исходим болью и страхом за вашу судьбу, ведь любим и дорожим каждой минутой подле вас, соединяющей наши жизни и судьбы, сердца…**

**Дель Фьоре. Вы дороги нам сами по себе, всей кипящей и бурлящей, гениальной сутью вашей, человеческой и настоящей, а не одной лишь наукой, которую от вас возможно почерпнуть – как друг и старший брат!**

**Элен. (*горестно, глядя в пустоту, словно причитая и раскачиваясь головой и телом так, как делают над чьим-то прахом*) А для меня ты был крупицами света и надежды посреди ада, которые давали жить. Ты один видел и ценил во мне меня саму, с достоинством и чистотой души, которые быть могут наверное сильны настолько лишь в шлюхе, ибо растоптаны и пали, изо дня в день губимы страшно… С тобой и я погибну, знай…**

**Караваджо. Я знаю, друзья… Простите мне мою привычную несдержанность – слишком силен до сих пор в моей душе шок… Я тоже люблю и уважаю вас, готов бы был отдать за вас жизнь… И не надо хоронить меня раньше времени – мы еще поборемся, сколько будет отпущено сил… Лживому и коварному скоту в тиаре так просто меня со свету не сжить! (*после паузы*) Однако, всё верно говорите вы. Гнев его глубок, решение твердо, а страх пред этим многих тысяч людей в самых разных местах, пусть даже благородных душой силен, ибо грозит им анафемой и подобной же судьбой. И я пока отправлюсь в то единственное место, в дом друзей детства, герцогов Колонна в Милане, где мне, думаю, всё же осмелятся предоставить убежище… И буду, сколько есть сил работать и бороться за то, чтобы спастись и вынудить Папу Павла V даровать мне милостивое прощение, то есть законное право жить, писать и думать, быть человеком и свободным… Обращусь к друзьям, поклонникам таланта… задергаю за ниточки, быть может попытаюсь изобразить покаяние, чем не шутит черт, поглядим…**

**Все. Мы не оставим тебя, Микеле, будем пытаться сражаться вместе с тобою здесь!**

**Караваджо. (*со слезами обнимая их*) Да, знаю и верю… И эта вера поможет мне выжить и бороться… А вы… Берегите себя… И помните науку, смотря на нее свободно и критически, лишь то из нее впитывая, что ваши собственные души людей и живописцев разделяют и считают верным – нет иного и более правильного пути для каждого… Не подражайте стареющему смутьяну и беглецу слепо… Думайте, постигайте и ищите сами, ибо и я однажды обрел и увидел, сумел проложить путь именно так *(к Элен, целуя и обнимая*) Прости, если держишь обиду. Держись. Особенно старайся не дать себя в обиду и замарать в грязи ныне, когда меня и света нашего общего дела рядом нет. Оставь ты всю эту подлость… работай натурщицей – ребята помогут… простыни стирай и шей, вари спагетти и горячие обеды, в монастырь уйди и там учи латынь, но только не дай сгубить себе душу… Где лошадь, Спада?**

**Спада. Чуть внизу, под тремя вставшими рядом соснами, чтобы не было заметно с дороги.**

**Караваджо. Денег раздобыли?**

**Бартоломео. Две тысячи скудо.**

**Караваджо. Ого! Откуда столько, ведь в доме бы и тысячи не набралось?**

**Дель Фьоре. Остальное дали Джентилески, Грамматико и многие другие… слух о случившемся разнесся быстро, слуги художников и прочих синьоров, ваш гений почитающих, начали валить толпой к дому и мастерской даже прежде папской стражи… многие прислали денег и пообещали бороться за Вас.**

**Караваджо. (*садясь на землю, с рыданиями*) Друзья… как мало дал я вам… каким холодным было мое сердце… вы знали от меня больше невзгод и бед, конфликтов и бесконечных споров, нежели заботы! Что же… если Господь милостив – позволит мне не просто выжить, а вернуть сторицей. (*решительно вскакивает*) В путь! Время вышло. Чтобы не ждало, я готов и не боюсь. Получите дурные вести – не грустите и не надрывайте сердца. Я всё же кое-что сделал в этой жизни достойное… И если вдруг известно станет вам, что нет меня более, умер или убит Караваджо, проклятым и так и не прощенным, гонимым, то знайте и верьте – умирал я с большим достоинством и покоем в душе, чем те скоты, что якобы возносятся с папского престола сразу в рай и Господние куши, верят в это! Есть то друзья, что дарует перед лицом судьбы покой незыблемый и больший, нежели исповедь, причастие, соборование с распятием в руке, пусть даже самая искренняя вера в Господа, обещание рая и прочее – созданное жертвенным, безжалостным усилием ума и души, собственными руками, волей и силою искренних, чистых порывов и поисков, рожденное с любовью… Достойное поэтому вечности и памяти. В этом истинное бессмертие, источник достоинства и покоя в неумолимой судьбе! Так цените же каждое мгновение жизни и отпущенную в нем возможность творить, что-то еще суметь и успеть сделать, найти и понять… Живите и творите сгорая, не щадя себя, словно каждое мгновение – последнее. Прощайте! Свидимся еще на этом свете, даст бог! Элен, проводи меня… Только ты…**

 ***Вместе с Элен исчезает*.**

 **Картина VII**

 ***Начало 1610 года. Берег моря возле Палермо, жаркий и залитый солнцем день. Чуть вдалеке виднеется стоящая под парусами и готовая к отплытию фелука. Караваджо и Марио Минитти сидят возле высокого песчаного откоса, прислонившись спиной и плечами более друг к другу, нежели к нему. Караваджо тяжело дышит, часто пускается в кашель и бледен, но в отличном настроении духа. Марио грустен, предается ностальгии и воспоминаниям, печали предстоящего им вот-вот расставания. Оба пьют вино.***

**Караваджо. У тебя три чудесных дочки, добрая и любящая жена… Ты молодец… И пишешь ты хорошо, хоть и не целиком следуя тем таинствам натуры и мастерства, которыми были так взволнованы много лет назад… Открывавшимся нам, когда мы ютились под римской луной или кронами ясеней и сосен, укрывшись каким-нибудь тряпьем или вот как сейчас, жмясь друг к другу чтобы согреться, и думали, говорили, мечтали… Что же! Каждый должен обрести в жизни и деле собственный путь, в этом смысл и главная цель, этого требует свобода... Жизнь твоя сложилась достойно, красиво, в отличие от моей… И даст Господь – останется такой и продолжит цвести еще долгие годы…**

**Марио. Знаешь Микеле… Десять лет мы не виделись, всего год ты на Сицилии и гораздо меньше пробыл бок о бок со мной в Сиракузах, а у меня ощущение, что мы по прежнему все эти годы были рядом, вместе, словно и не расставались… Знаешь, мы были настоящими друзьями! И вот, мы рядом последние мгновения и возможно более не увидимся, а я всё никак не могу это понять, почувствовать… взять в толк… Словно всегда мы были рядом, без этого моя жизнь невозможна и не должна совершаться, а ты никуда не исчезнешь…**

**Караваджо. (*искренне, опуская на несколько мгновений голову ему на плечо*) Да… Слишком многое связывало нас, быть может – для жизни самое главное… Знаешь – нет ничего важнее самых первых лет, когда ищется и обретается дорога, а мир дышит в лицо бескрайними загадками и постоянно открывается, словно жизнь и трепет надежд и возможностей в ней волнует. Рождающаяся в эти годы дружба крепка, как никакая другая, и чтобы не случалось впоследствии – остается такой… Вот – мы это доказали… Я благодарен тебе, что после стольких лет и повисшей тогда открытой раной, так и не разрешенной ссоры, ты встретил меня, открыв объятия и как былого друга, словно ничего и не произошло… Не затаил обиды.**

**Марио. (*улыбаясь*) А я мог иначе?**

**Караваджо. Поди знай… Хотя, помня тебя – я должен был быть в этом уверен. (*глядит на него с лаской и теплотой*) Знаешь, ты теперь мужчина, муж и отец, мастер… А я по прежнему угадываю в тебе что-то от восхищенного и прекрасного юноши, сбежавшего вместе со мной бездомничать сначала от Галло, а после и от Д’Арпино… Ты друг, Марио, верный! Я ни с кем никогда не был и не смог бы быть таким откровенным, как с тобой… Никто ведь и не знает, как ты, изнанки и тайн моей жизни, души и судьбы…**

**Марио. (*смеясь*) Я бы не стал мастером, если бы в какой-то момент не рассорился с тобой и не ушел, многое взяв, но еще больше найдя потом своего…**

**Караваджо. (*серьезно, задумчиво*) Возможно… Путь у каждого свой… Впрочем, если ты помнишь – я всегда и побуждал тебя самому думать и искать…**

**Марио. *(с такой же шутливостью*) Слишком ты всё-таки давил на меня, а? Если и не продуманно, но непроизвольно, гением и личной силой… Довлел надо мной, как канон Святой Церкви над кистями художников… *(толкает его локтем в бок и Караваджо неожиданно заходится в долгом и тяжелом приступе кашля. Испуганно поворачивается к Караваджо*) Микеле, что с тобой? Тебе дурно?**

**Караваджо. (*через какое-то время*) Оставь, не омрачай последних мгновений перед разлукой… ты должен был привыкнуть, пока я жил и работал рядом… не долечили меня тогда римские эскулапы… *(после паузы*) Да, наверное ты прав… А теперь мы встретились и взглянули в лицо друг другу как равные… Как мастера и люди с собственной, чем-то самым личным проложенной дорогой… И дружба наша оттого стала еще замечательней и настоящнее…**

**Марио. У тебя в Неаполе будут врачи?**

**Караваджо. (*смеясь*) Оставь ты ради Господа эту чепуху… Врачи в Неаполе! Да я молюсь, чтобы меня там не попытались убить, как это почти случилось два года назад… Плевать я хотел… Никогда со времен госпиталя Сан-Иньяццо не бегал по врачам, хоть год от года становилось пусть и медленно, но неуклонно хуже… Привык чувствовать себя налитым силой и способным свернуть горы или отбить кому-нибудь голову быком, а в последние годы словно старик, один из множества написанных и виденных мною на папертях, или девица на выданье слаб… Но знаешь – сил душевных и нравственых еще кажется никогда не было так много, как за эти последние, прожитые в скитаниях и бегстве четыре года… И кажется – чем более не становилось сил телесных, тем больше эти главные, творящие в человеке силы прибывали и горели, целиком забирали и уносили меня… Они захотели сгноит и погубить меня… (*смеется*) И почти вышло, я ведь и вправду долгое время был напуган и сломлен, чуть от этого с ума не сошел, дрожа перед угрозой смерти каждое мгновенье, от ненадежности и способности оборваться в неизвестность и бегство любого из них! А потом привык… И вот, словно в насмешку над судьбой и всеми кознями вновь победил, кажется, во всех смыслах!**

**Марио. (*самому себе и бормоча*) Он не изменился, себе на горе… всё так же заносчив и дерзок, не научился ничему…**

**Караваджо. (*с шутливой гневливостью и грубостью*) Что ты там мямлишь себе в сделанный цирюльником гладким подбородок? (с убежденностью и гордым презрением) Да, победил… Хоть может так и не покажется… Я в эти годы писал и плодоносил так, как не бывало за многие из прошлых – надежных, полных покоем, сытостью, каким-то признанием и радостными драками, прочностью обстоятельств и обожанием учеников и последователей… Словно я Царь Давид, играющий беспрерывно на лире, чтобы не дать Ангелу смерти забрать его… Словно человек, который чувствует, что приходит время пропадать и погибнуть, и ценит крупицы мгновений на последнем надрыве, жжет себя созиданием и огнем любви, но старается сделать как можно больше и самое важное – чтобы победить судьбу… Сколь возможно более сделать и оставить, бросить ей в лицо того, что достойно памяти и способно подарить торжество над ней… Мы никогда не ценим так мгновения жизни и дарованные в них возможности сделать что-то, как в ощущении близкой опасности смерти и трагизма смерти… Я доказал это горением любви и тремя десятками чудеснейших детей, которые подарили миру и вечности мои руки…**

**Марио. Микеле, сплюнь три раза и не задавайся… Испытания ждут тебя еще немалые, поверь!**

**Караваджо. Я знаю! Ясно понимаю это… Однако, это не отменяет факта, что я и здесь, поверх всех бывших за минувшие годы бед и терний победил. Не погиб и не сломался душой, хоть опасность такая была… Очень много написал и в основном остался верен себе… (*смеется*) Даже когда впервые за жизнь учился сгибать шею. (*серьезно, с полными гнева и ненависти глазами*) И всё равно победил… Ты читал письма. Этот негодяй со всей серьезностью склонен даровать буллу о прощении… О, я не прощу ему ничего, унижу его собственным же его милосердием, как он губил, унижал и топтал меня все эти годы! Он думал, я покорюсь, сломлюсь и изменюсь… я покажу ему!**

**Марио. Микеле….**

**Караваджо. Он увидит! Поперхнется собственным прощением, когда уже не будет дороги назад!**

**Марио. (*с болью и серьезной встревоженностью*) Микеле, берегись!.. Папа Павел Пятый V умен, жесток и хитер, как никакой другой из подсказываемых памятью! С ним просто так не сладить…**

**Караваджо. Да, это так… но и на него есть управа, выясняется, если только бороться и не гнуться… Знаешь он ведь вправду заставил меня на какое-то, совсем не короткое время сломаться… заставить сомневаться в себе, терзать себя упреками… быть может даже каяться в том, в чем был я невиновен… Я написал себя таким в последнем «Святом Франциске»… О да, ему удалось сломать и растоптать меня, просто не до конца! «Мадонну с четками» доминиканский собор в Неаполе так и не принял, и дело было не только в страхе перед Папой, которого не было у кардинала Асканио, когда он, желая поддержать меня деньгами и заставить продемонстрировать раскаяние и просьбу о прощении, ее мне заказывал…**

**Марио. Да, его гнева и воли боятся повсюду. Оттого даже здесь, на Сицилии, стоит лишь слухам о том, что ты проживаешь и пишешь в каком-то месте, стать подобными поднимающейся волне на море, приходится брать вещи и вновь бежать, идти в другое место, ибо даже самые благородные душой люди боятся…**

**Караваджо. Ты – нет. Даже приехал проводить меня. Спасибо.**

**Марио. Я друг. Я не имею права бояться. Господь не простит, пусть даже предаст анафеме Папа.**

**Караваджо. Ты быть может сильней меня… Ведь я в «Мадонне с четками» был самой настоящей сломавшейся и трусливой скотиной…**

**Марио. О чем ты Микеле? Слухи о чудесном свете и лике Мадонны в этой картине дошли даже до Сиракузских оврагов!**

**Караваджо. Всё верно, но не противоречит. Я писал с любовью… К свету и облику Мадонны… К делу. К методу и мастерству, которые, кажется, стали столь совершенны, ясны и крепки во мне самом, что написание картин перестало стоить мне каких-то усилий, тяжестей и колебаний, начало просто литься и совершаться, словно свет, стоило мне лишь зачать одну из них в душе и приняться давать чаду жизнь. (*смеется*) Однако, я должен был в ней униженно и молитвенно завилять задом, что и сделал… И себя, пишущего ее, потому ненавидел… С яростью и отвращением ненавидел этих устремленных руками к Святому Доминику трусливых рабов, просящих через него Мадонну и Спасителя о милосердии, словно видел в них самого себя, вынужденного себя растоптать. Я писал осанну Церкви и Папскому престолу, подписывался под верой в их роль и обязанностью повиноваться их авторитету и власти… Я, с давних времен отвергающий их, считающих их преступными, извращающими веру и человеческие души, от веры отдаляющими… И ненавидел – себя, картину и всё на ней. И это было так очевидно – несмотря на чудесность света и прозрачного воздуха, игру тонов и правду натуры, а может именно благодаря им, настолько лилось из полотна волной, что церковники почувствовали и отвергли… Я старался искренне написать униженные молитвы к Папе и Церкви о прощении, пытался умастить злодеев, властью и страшной, неумолимо правдой мира отбирающих у людей свободу и достоинство… И верь – желание это было тогда во мне сильно и искренне, ибо я был сломлен и хотел спастись и жить, что-то еще суметь сделать… Ведь даже в доме друзей – герцогов Колонна, не смели приютить меня надолго, ибо опасно было это в равной мере для меня самого и них… Вот тогда я почувствовал себя гонимым сворой собак и охотниками вепрем или волком, у которого права жить и места в мире нет, а остается лишь бороться и пытаться бежать и спастись, пока есть желание и силы… До тех пор, пока усталая опустошенность и отчаяние, а может – достоинство, не заставят встать, перестать бежать и показывать судьбе спину и зад, взглянуть ей в лицо и принять ее, позволить ей совершиться… Но я так ненавидел себя и написанное, что несмотря на искренность изобразил молящих о прощении и заступничестве, да и всё остальное, подобно тем пилигримам в Лоретской Мадонне – сквозь все приемы и маски, поверх благочестивой сладости и пафоса праведной и коленопреклоненной покорности, упования на чудо и милость, вызывающими отвращение… И церковники конечно же это почувствовали и не приняли картину, мол нет в ней предписанного каноном святого благочестия, хотя (смеется с горечью), напуганный и отчаявшийся, загнанный в угол, я соблел в ней канон так, как не делал за всю жизнь и словно ученик цукарровской академии! И не могло быть иначе, Марио! Именно поэтому она вызывала отвращение… Ведя я умело лгал в ней, мучил и насиловал себя, душил свободу и движимые свободой душу, ум и веру! Ненавидел и унижал себя, но делал это… соблюдал правила и каноны, законы и рамки – чтобы выжить и спастись… В первый и последний раз в жизни… В первый и последний раз позволив унизить, сломать и растоптать себя – не гонениями и спущенной сворой, а покорностью, наставшей в душе готовностью повиноваться и лгать! (*с ненавистью и яростью*) О, он заплатит мне теперь за эти страшные, пусть даже короткие дни!.. И тем мучительней было унижение, что оно было совершенно напрасным… Я зря растоптал себя и во власти страха и шока согласился... Зато – научился с тех пор и уже до конца дней последней истине: стоять насмерть… Искренность и свобода в творчестве, друг мой Марио, рождают чудесную, полную загадок и манящую, способную потрясать красоту… открывают истину, пролагают дорогу… Ложь же, даже если была она искусна и искренна – такое бывает под солнцем, я теперь знаю! – способна родить лишь то, что поверх всего вызывает только отвращение и ненависть, с соблюдением всех канонов и законов не стоит ни гроша… по крайней мере – так это для меня… Я, я свирепость и бунтарство которого стали легендой большей, нежели искусство, с молодости ими берегший душу и свободу, право на собственный путь в жизни и творчестве, согласие с собой и господним светом внутри – растоптал себя, унизил… позволил заставить себя добровольно это сделать, о!.. *(после паузы*) Во многих моих полотнах дано различить миг театральности и присобранный, словно открывающий зрителю события занавес, ты знаешь… Создавая священный сюжет, словно он происходит перед глазами, наполняя его правдой чувств и образов из жизни такой, что она способна разорвать или потрясти душу, я этим занавесом одновременно погружаю в повествуемую историю до конца и напоминаю, что речь идет о живописном полотне… Давно я полюбил такой прием… Однако, тут писал я откровенный спектакль лживой и уродливой жизни, рабства и унижения, который ненавидел и не передать в полотне, на заставить немедленно ощутить в нем не смог… Короче – я ненавидел эту картину, как символ унижения и лжи, в которую я себе позволил пасть… Любил, как всё созданное, ибо не мало в ней прекрасного, но одновременно ненавидел, ведь был впервые за жизнь в полотне лжив… И был счастлив, когда один голландский живописец, бывший в Неаполе проездом, купил у меня ее и забрал с глаз долой, дав мне заработать треть от суммы… Всё это так. Верь мне, а не слухам…**

**Марио. А почему ты вынужден был уехать с Мальты, даже став членом ордена? Ты не касался этой темы за прошедший год, упорно… так скажи хотя бы сейчас…**

**Караваджо. (*задумчиво, углубляясь в воспоминания*). Это был крах, не меньший, чем удавшаяся папская проказа в Риме… В Неаполе, во власти страха и отчаяния растоптавший себя, чувствуя себя загнанным вепрем, я искал выход… хоть какую-то надежду и твердую почву, ибо готов был, верь, наложить на себя руки, видя лишь мрак безвыходности и ад, который вынужден терпеть, царящий в жизни и судьбе… И встретил случайно на рынке мальтийского рыцаря, которого знал с юности, подарившего мне эту вечную со мной шпагу… Он узнал меня, услышал и дал надежду – обещание надежного приюта и членства в ордене, которое дарует под ногами землю вместо зыби, право жить и защиту… Поставит за моей спиной влиятельные силы и заставит трижды подумать, прежде чем замышлять против меня что-нибудь! О, я был счастлив до безумия и бросился вслед за ним в корабле на Мальту с такой верой в жизнь, какой наверное еще никогда не знал! Спасение и твердая земля ждали меня и пробуждали силы и ярость, надежды и желание работать невиданные! И всё сбылось, меня не предали и не обманули, орден на собственной, нерушимой земле, был для этого достаточно богат и силен! Анафеме я предан ни был, и это дало возможность, после пары полотен и портретов, сделать меня членом ордена! Я более не был гонимой и проклятой, должной быть убитой собакой, за мною стояли лица и спины рыцарей, флаг древнего ордена, стены крепости и корабли с пушками в порту… Этому святому скоту теперь был брошен вызов и он знал, что в его кознях не всевластен, а может встретить отпор!**

**Марио. (*сурово и скептично, словно с упреком и поддевая*) Так отчего же и оттуда ты бежал сюда, в захолустные деревни, работу в провинциальных и богом забытых церквях, постоянное бегство и бедность?**

**Караваджо. (*с болью и горечью, но не менее сурово*)… Свободу и самого себя, совесть и господний свет в душе предавать нельзя, Марио, что бы ни было и какова бы не была цена… Один раз я публично, на стыд себе сделал это уже в зрелые годы, и выучил до конца дней такую истину, запомни же и ты, друг… Знал и свято хранил всю жизнь, один раз преступил и убедился словно в самой вере, ибо боль и ад в душе были нестерпимы, а перед обреченностью заживо гибнуть, самой жизнью и делами губить и отрицать, словно бы уничтожать себя, топтать и унижать, разрушать, смерть казалась избавлением и благом, глотком воды в адском пекле пустыни, хоть с юности страшила в мыслях… Ибо я был готов от ненависти к жизни и себе, к тому, какой ценой я вынужден спасаться и покупать право жить, от отчаяния, что только так теперь и будет и обречен я на это ради одной лишь милосердной возможности еще пожить, дышать с хрипом и тяжестью, дрожать от страха и мучиться унижением, выбрать смерть, верь мне…**

**Марио. (*допытываясь*) Так в чем же дело? Ведь была тебе Мальта хорошим и надежным приютом, дарившим покой и возможность работать?**

**Караваджо. (*сурово*) Свободу и самого себя, совесть и господний свет в душе предавать нельзя, даже если цена – вновь мытарства и беды, муки и постоянная тревога, утрата остатков надежды и твердой земли под ногами, радости при взгляде в утренний свет… Я шел по плацу замка в те мгновения, когда по приказу Командора, написанного мной, щуплого раба с галер нестерпимо, страшно истязали кошками, словно рвали на части, очевидно собираясь так убить… За то, что он в отчаянии от боли в теле и смертельной усталости, набросился на требовавших «налечь на весла» стражей… На моих глазах, из-за чепухи, рвали на части и убивали несчастного страдальца, заслуживавшего и требовавшего милости, сострадания, любви и прощения… И снова возле распятий и под полуденный, раскачивающий жару гомон собора, по велению Магистра, молящегося в этот час в соборе Христу… Вновь всё взбеленилось во мне – вера, убеждения, целую жизнь отстаиваемая истина совести и любви, свобода, да просто боль любви к человеку, на глазах разрываемой вместе с кожей несчастного и под его отчаянные вопли и мольбы о милосердии… Он человек, его же превращали в вещь, «ничто», кусок плевка не стоящего мяса – от имени бога и господнего закона, якобы велящего делать людей рабами и убивать их, если в них бунтуют боль, отчаяние и свобода… По воле молящегося богу святоши, милосердно и честно спасшего меня самого… Гнев и ярость опять стали их голосом… Глаза залили кровь, мрак гнева и свершающегося на них зла, но памятуя о собственной судьбе я сдерживался, стал вместе с казнимым умолять палачей и стражу о прощении, просил послать к Великому Магистру, а надо мной сначала смеялись, словно над безумным, а потом принялись прогонять ругательствами и угрозами… Я не сдержал себя, Марио, вынул шпагу… Ночью ко мне пришел тот рыцарь, ставший другом… Он просил меня покаяться и попросить у Великого Магистра прощения. Я отказался, понимая, что прав, а не виновен, ибо преступен был закон, которым убивали, душа же и совесть, двигавшие моей рукой – справедливы… Вспоминая недавнюю муку унижения и понимая, что не выдержу ее и позволив вновь себя сломать, напорюсь на шпагу или брошусь с башни на камни возле волн… И чем я сильнее и честней отказывался, тем становился он, такой же раб и трус, пусть даже с более благородной, чем у многих душой, отчужденнее от меня и суровей, а в конце, надев маску, сказал: «единственное, что могу я сделать для тебя, брат Караваджо – дать сейчас тебе бежать под покровом ночи на одном из кораблей, скрываясь от гнева магистра, который считает тебя неблагодарным смутьяном и безумцем, вполне достойным папского меча, и неминуемого заточения в темнице надолго»… Я встал, позволил нескольким рыданиям от нестерпимой муки в душе пролиться в мир и мрак, а после взял несколько вещей в котомку и бежал… Сюда… Ведь здесь были ты и последнее место, где еще можно было надеяться найти приют… (*вновь взметаясь душой*) И видишь – борьба, дружба наша, надежда и вера дали свои плоды! Я выжил, написал чудесные вещи и побеждаю. Скот в тиаре собирается даровать прощение, но я не дам ему плюнуть буллой мне в лицо, напротив – заставлю его самого ею подавиться, вот увидишь!**

**Марио. (*с болью, тревогой и ужасом*). Безумец, что ты говоришь! Остановись и молись о том, чтобы всё сложилось удачно! Папа Павел V страшен подлостью и умом!**

**Караваджо. (*всё более увлекаясь и заводясь*) О, скот заплатит мне за муки, висевшую дамокловым мечом над головой гибель и скитания, унижения и прочее!.. Случившееся на Мальте вновь стало сломом и сомнениями, чувством вины за то, в чем я не винен, вылившимися на столь любимое тобою полотно, где твой молодой сосед, написанный Давидом, с задорным чувством торжества держит мою, Голиафа то есть, голову…**

**Марио. (*с гневом и напором*) Ты должен день и ночь глядеть на нее, вешать ее напротив ложа, засыпать и пробуждаться под ее неустанным присмотром, научаясь так мудрости, работе над собой и вере, ибо она воплощает грех твоего нрава, путь спасения и расплату, если по нему не пойдешь!**

**Караваджо. О нет, лишь ты так видишь, а я – иначе! Свобода и достоинство, совесть и верность ей – вот путь, а страсти мои лишь всегда этот человеческий и господний, подлинный путь хранили, точнее же, сберегали на нем меня, сбиваемого с него властью обстоятельств и страданий, тягот, искушений и душевной слабости, не чуждого мне как и любому из людей страха. Я благословлять должен нрав свой… Хоть он и нес мне беды, но хранил меня как человека, позволял быть и оставаться собой, обрести и проложить во всем собственный путь, достигнуть и свершить немалое, чего бы не касалось! Вот и сейчас – он дал мне победить! Многих ты видел из людей нашего ремесла и сообразной судьбы, которые перед лицом верховного, земного и церковного иерарха, открыто взбунтовав и став обреченными на гибель, сумели выстоять и победить, защитить для собственной жизни и души святое? А я сумел!**

**Марио. (*с* *болью и ужасом, но более самому себе*) О безумец! Он точно пропадет и не желает понимать этого, видеть путь в пропасть, по которому его вновь тащит страшный, своевольный нрав!**

**Караваджо. (*сурово, серьезно и высокомерно*).Я победил и покажу ему это. Я вернусь в Рим не униженным, растоптанным и милосердно прощенным, давая таким образом повод окончательно погубить меня, заставить следовать канонам и законам, склонять голову перед ложью и освященными сенью и истинами веры преступлениями, о нет! Я вернусь в Рим победителем, унизившим его и отстоявшим право быть свободным и самим собой! Жить и писать, как велят ум и душа, вера в Господа и голос Его, говорящий требованиями совести и любви, до последнего вздоха куда-то ведущие искания, а не душащие всё это вместе со свободой кандалы канонов в искусстве, вере и морали, самой жизни и главном в ней! Ведь так испокон веков построена Церковью проклятая жизнь вокруг нас, что не сам человек, будучи свободным, имеет право и должен мыслить и решать, как жить и поступать, верить и творить, а словно бы беспрекословно велено ему это разнообразными, но не знающими жалости и не дающими спуска канонами, ставшими нравами людей и химерами в их умах, в которых Бога, веры и истины, красоты и поисков ее, чего-то человечного зачастую вообще нет! А потому – я приеду в Неаполь, даст бог выживу там и дождусь окончательных сведений о папском решении, и после двинусь в Рим, въехав в него ранее, нежели он дарует и объявит буллу. Он никуда не денется, а я именно так сумею победить и отстоять себя, право на свободу в жизни и творчестве, сколько там мне еще осталось! В любом случае – выйду в конце всей этой истории победителем и на коне!**

**Марио. (*почти кричит от отчаянии*) Опомнись! О боже, как же отпускать тебя с такими планами, ведь это верная гибель!**

**Караваджо. (*спокойно, сурово и с тенью мудрой улыбки*) Я победил, даже в этом случае. Сжить со свету и сгубить меня хотели, я же выжил и написал многое, загадочное и чудесное, что увековечит и сбережет меня и жизнь мою в памяти, веками будет влиять и направлять умы и кисти, что бы там не задумывали и какие козни бы не строили. Пусть даже прикажут собрать мои полотна по всему свету и сжечь – этого не выйдет, ибо ценны они для душ и умов людских, говорят честно и глубоко верные вещи, полны отстоянной в борьбе и испытаниях красоты истины, поисков и свободы, содрогают этим, а значит, будут непременно сохранены и спасены. (*глядит на руки*) В этом вечность и бессмертие, власть и победа над судьбой, как бы не сложилась она по пути к финальной, неотвратимой и одинаковой для всех сцене! В руках. В уме и душе, которые ищут и ими творят. В силе любви, которая побуждает творить и бороться за право на это. Над этим не властны Папы, короли и прочие скоты, словно черви точащие живое тело болезни, козни обстоятельств и прихоти судьбы, зло и насилие мира, вечно желающего стереть и погубить свет господний в человеке, сбить его с пути, время и неумолимая смерть! Вот, в чем таятся вечность, торжество и победа, спасение и надежда – если только человек сумеет пройти путь и не позволить себя с пути совратить, сбить… И всё обращено тут к человеку – свободе и мужеству его, силе его любви и духа, способности искать, трудиться и не щадить в этом и в борьбе, во всех отпущенных испытаниях себя. (*сурово, серьезно*) Я должен был сломаться, но творил, сохранил силу и волю бороться, оставил вечное – и значит победил, даже если сгину завтра от ножа убийцы, яда или приступов кашля в какой-нибудь канаве. И даже если им доведется отпевать меня, ими же погубленного так или эдак, мой прах будет говорить им из гроба – «он победил!»**

**Марио. (*крича в отчаянии*) Остановись и опомнись, несчастный и совращенный Сатаной безумец! Папа Павел V, хоть и решил быть может изобразить прощение, но навряд ли вправду хочет даровать его тебе, быть может вообще не желает видеть тебя живым! Всё это может стать лишь спектаклем, в котором тебя ждет гибель! Тебя могут извести или как-нибудь иначе заставить сгинуть по дороге, изначально планируя это или же так отвечая на твою безумную дерзость! Умоляю – даже уехав и осев в Неаполе – будь осторожен, берегись и прячься, не лезь на рожон, будь мудрой змеей и заставь его всё же подписать и огласить буллу, быть может не желая этого, так победи и потом лишь осмелься двинуться в Рим, а еще лучше, держись от Рима подальше и беги куда-то на Север, где власть Папы ненавистна и не столь велика! Ибо знай – они скорее всего не хотят видеть тебя не то, что прощенным и «победившим», но вообще живым, планируют сгубить, полагаясь на козни или случай, но наверняка! И просто затевают очередной грязный спектакль, на который во все времена такие мастаки! (*в сторону*) О Господь, пошли же ты ему мудрость, ну хоть сейчас, ибо о жизни и смерти идет речь уже наиболее прямо!**

**Караваджо. (*улыбаясь и спокойно, потом крепко обняв Марио*)Ты друг, настоящий. Благодарю судьбу, что с начала пути и по самый его конец связала меня с тобой, такого друга мне подарила! (*в сторону*) Ты так ничего всё же и не понял… Проиграл тот, кто дал бесследно стереть себя… позволил себя растоптать и сломать… Во власти страха и лжи, вечно правящей в мире и жизни, ради одного лишь милосердного права выжить и как-то для этого приспособиться, приноровиться терпеть ад, дал заставить себя подчиниться и унизиться, отказался от свободы… Преступил против совести и того, что осененная чистотой и светом господним, дышащая любовью, требует душа… Продался, предал самого себя, истину и обретенный путь, обязанность найти, проложить и отстоять его… Во власти страха и подчиняясь насилию мира и лжи, просто чтобы выжить и получить на это право, предал и продал всё подлинно святое, нерушимое, человечное и Господнее в человеке… обрекающее на страдания, испытания и поиски, муки и отчаяние, но преступить против себя не позволяющее и грозящее в расплату за это гибелью… Пропадать грозит так и эдак, а значит – лучше делать это с достоинством и в борьбе, себя не предав и с обретенной этим надеждой выстоять и выжить в бурях… Этот проиграл, даже если покажется, что победил, то есть завоевал словно подачку брошенное миром право выжить и возможно преуспеть, стать почитаемым и богатым, но покорно склонив шею и предав свободу и самого себя, творчество и отпущенные Господом возможности, надежду воплотить их и остаться навечно… согласившись соблюдать законы и каноны, которые должно попирать! Такой проиграл и пал, даже если купается в золоте и обожании рабов, а ты бедствуешь и мытарствуешь, не можешь вдосталь спать и есть – ибо дал заживо сгубить, уничтожить и растоптать себя, умер и позволил сделать себя «ничем» еще при жизни… Отступил и предал, сломался, погубив так данные единожды и навечно возможности… И оттого сейчас, в это мгновение, быть может окутан обожанием и покорностью, ореолом почитания и значения, многим иным, что способно покрыть вуалью его ничтожество, но перед взглядом Господа или вечности, в ее раскрывающемся уму, пугающем и рождающем трепет сиянии – именно «ничто», лишь пыль… И пройдет совсем немного времени, он будет не достоин не то что вечности и памяти, а самой простой скорби лишь недавно перед ним склонявшихся… Сейчас, позволив власти и страшной, адской правде мира себя подчинить и сгубить, он быть может ничего не понимает, счастлив и упивается благами, успехом и почитанием, обладанием разными химерами, наслаждается покоем и безмятежностью жизни, прочностью судьбы, ибо не ведает мук разума, совести и свободы, сбежал от них, от самого себя… И верит, конечно же, в однажды постигнутую истину продажности, предательства и страха, рабства и подчинения, ведь несомненными благами, успехом и прочностью жизни, иному неведомыми, она доказывает ему себя изо дня в день! Он процветает и богат, а тот мытарствует, нищенствует и голодает, не находит себе в мире места. Он почитаем, а этого поносят и норовят сжить со свету, окунают в плевки. Значит – он прав и его истина, правильный путь он нашел, научившись предавать, отступать и выть вместе с волками, играть по общим правилам, расплата за нарушение которых хорошо известна и даст почувствовать себя любому! Он прав, выбрав не смутные химеры и чем-то еще вдалеке грозящий ответ перед неумолимой судьбой, а очевидные радости и блага! Он прав, живя счастливо и процветая, продав для этого всё, что по загадочной задумке и воле Господа обрекает страдать и пережить множество бед и терний, но делает человеком! Он прав, сбежав и благоразумно защитив себя от мук разума, свободы и совести! (*смеется зло и горечью*) Однако, знай и верь мне, ибо не раз я видел собственными глазами и даже однажды написал в «Матфее» – расплата и катастрофа ждут, неотвратимы и страшны, не скрыться от суда духа, свободы и господнего света, заложенных в любом, но превращающихся в карающий и не оставляющий спасения и надежд меч! И когда их час наступает, защитить или спасти ничтожного предателя и труса уже ничего не может! И суждено ему со всем нажитым пасть и обратиться во прах, пропасть и рухнуть, ибо все надежды и возможности перед лицом суда и катастрофы он погубил… «Что толку человеку, если он весь мир завоюет, но душу свою потеряет?» – разве не знаешь ты этих слов Святого Апостола Павла? Жаль, что понимают это обычно поздно, во власти мира и его соблазнов, а часто – просто не выдержав и покорившись насилию, самого себя, собственную душу и данную единожды и навечно жизнь уже погубив… И страшно, что подобной гибели и утраты, предательства себя и всего, в самом себе человечного, Господнего и истинного, мир безжалостно и испокон веков требует даже не во имя успеха, богатства и почета, обладания различными химерами, но ради простого права для человека жить и выжить, чем-то заниматься, провлачить отпущенный век… как-нибудь использовать дарованный талант, превратив его черти во что и состояться ему не дав... Что же!.. У предательства или свободы и верности себе есть цена… И это цена не только отпущенных страданий и терний, или же покоя, надежной и прочной жизни, гарантированного выживания и куска хлеба… Это цена вечности и потому, друг мой – смысла и самой жизни… того, что дает нам силы и желание жить, бороться, созидать…**

**Марио. Это ты думаешь об этом, «высоком» и «не от мира сего»! А я дрожу в душе за твою судьбу и потому – совсем другими мыслями и заботами полон! Одумайся и послушай меня или погибнешь! (*бросаясь на него с объятиями и слезами*) О, Микеле, чует душа – последний раз мы говорим и видимся, ждет тебя гибель!**

**Караваджо. (*спокойно и сурово*) Возможно! Но я не боюсь и не дрожу, ибо даже в смерти сумею победить, как только что попытался объяснить тебе! Все мы придем к неумолимому порогу, который, хоть иногда кажется и не умеет ждать, торопит дело, но подступает именно в назначенный час, как суждено каждому… Смерть страшна самому человеку и разрывает горем сердце любящих его, это так… Но она неизбежна и к ней надо готовиться, чтобы достойно, с силами и мужеством встретить ее лицом к лицу даже поверх страха, который наверное всё же охватит и содрогнет до самых жил! И у человека нет другого пути к этому, кроме как силой любви, совести и таланта, верностью разуму созидать, добыть плодами его жизни вечность и память, попрать этим власть смерти, посмеяться над ней! В этом вызов судьбе, достоинство, победа… Я буду умирать и приму судьбу в грядущий быть может скоро час спокойно, уверен… насколько вообще дано смертному… И значит – жил правильно, добыв на это право. А тебя, если станется дурное, прошу помнить обо мне с добром и дружеским теплом, но не скорбеть и не рвать сердце, жить по прежнему красиво и творя, готовясь к собственному неотвратимому мигу, который, надеюсь, наступит еще очень не скоро…**

 ***Оба какое-то сидят молча, Потом Караваджо решительно вскакивает, Марио вслед за ним. Они стоят друг на против друга, смотрят.***

**Караваджо. (*с трудом сдерживая рыдания и чувства*) Вот они, последние мгновения… Разлука словно смерть… Ждешь ее, знаешь что она неумолимо будет, но даже когда приходит и дышит в лицо – не верится, что всё сейчас кончится и навеки сгинут жизнь или лицо друга в глазах и его объятия, трепет его души в своей собственной… О страшная власть судьбы и времени – перед лицом твоим редкий сбережет достоинство и душевные силы! Ветер крепчает, друг, и фелука грозит сорваться с якоря, если ей не дадут свободу по доброй воле, поднявшись на борт… Сужденного судьбой не избежать… Должное совершиться – да придет и возьмет положенное… Давай прощаться!**

 ***Бросаются друг на друга, обнимаются крепко и долго, плачут***

**Караваджо. Я, если выживу и крепко обустроюсь, в память молодости напишу тебя, каким остался ты в моей памяти ныне… (*с* *улыбкой*) Сделаю тебя кем-то из Святых – позволишь? Дарить друг другу кистью вечность – разве это не счастье и не прекрасно?**

**Марио. Храни себя, и будь для этого мудрее.**

**Караваджо. Тошной мудрости жизни и страха, от нее и закоулков человеческого пути в мире неотделимого, я предпочитаю гордую мудрость свободы, разума и силы духа, которая требует бросаться навстречу судьбе или наставленным копьям, даже когда этого можно избежать! Прощай!**

***Караваджо берет котомку со шпагой и начинает быстро идти, через какое-то время оборачивается.***

**Караваджо. (*со слезами, кричит*) Что и когда бы не ждало нас, друг – вместе с мужеством и достоинством, давай сохраним в душе тепло и память дружбы, эти мгновения! И возродив их в душе в решающую минуту, судьбу победим и посмеемся над ней! Прощай!..**

***Уходит по направлению в пляшущей на волнах и рвущейся на волю, в морскую даль фелуке, где его давно уже ждут.***

 ***Сценическое интермеццо, которое обликами карнавалов, рыночных торговцев и уличных драк, обольщающих клиентов проституток возле древних развалин, вновь переносит в Рим 1610 года…***

 **Эпилог.**

 ***31 июля 1610 года. Знаменитая площадь перед собором Святого Петра в Риме. Ступени собора как всегда полны вползающих на коленях паломников, а колоннада и площадь, ждущих возможности пройти вслед за ними, зевак, торговцев и воров, короче – привычного римского люда, среди которого объявляют папскую буллу несколько глашатаев, а сам Папа Павел V, вместе с неизменным рядом с ним секретарем Таддео Ордолизо, наблюдает за происходящим из того же окна над колоннами, откуда обычно Папы обращаются с пасхальной проповедью.***

**Глашатаи. Сего дня, 31 июля 1610 года от рождества Христова, Папа Павел V, в милосердии и следуя христианским заветам прощения и любви, объявляет жителям Святого Города Рима, что дарует все последние годы бежавшему и скрывавшемуся живописцу Микеланджело Меризи, более знакомому именем Караваджо, отпущение однажды совершенного греха ненамеренного убийства и освобождение от вины за тот перед законом и судьями! Радуйтесь, добрые католики и достойные горожане, благочестивые паломники и все прочие, возблагодарите Святого Отца за милосердие! И хоть оный художник волею Господа до этого дня не дожил, скончавшись от болезни не так давно, отныне он прощен и перед Господом, законом и всеми добрыми католиками не-ви-но-вен! Возблагодарите за это милосердного Святого Отца, не давшего совершиться несправедливости! А полотна художника, ранее изъятые из церквей в наказание за совершенный им грех, отныне возвращаются глазам и душам людским, чтобы каждый мог по достоинству оценить великое искусство почившего, которое творил тот во Имя Немеркнущей Славы Господней! Возблагодарите же, достойные римские горожане и благочестивые паломники, добрые католики в умах и душах Святого Отца, не давшего погубить великое искусство родившегося и творившего на итальянской земле живописца! (*повторяют не один раз*)**

**Первый зевака. (*из зажиточных и часто посещающих кьезы горожан*) Однако! Помнится мне, что гнев Святого Отца был безграничен, чего дерзкий и непочтительный смутьян Караваджо, известный более своими выходками в жизни и на полотнах, нежели истинными свершениями, конечно заслуживал.**

**Второй зевака. (*благочестиво крестится*) Свят-свят! Благословен Святой Отец, а вера пусть хранит душу от искушений!**

**Третий зевака. В самом деле? Кому он был интересен, кроме кучки богачей да таких же как он мастеров, любивших все эти его трюки? Народ его не знал слишком уж и не любил, а после того, как стал он безбожничать – особенно!**

**Четвертый зевака. Всё вы не так говорите! Великими и поучающими вере были его полотна, а теперь слава богу, можно будет любоваться ими свободно!**

**Пятый зевака. И наконец-то, хотя бы после смерти, по праву он обретет популярность у многих, очень многих, а не только среди людей его ремесла!**

**Второй зевака. Свят-свят! Только после смерти! Тяжела судьба человеческая, но милостив Святой Отец и да будет славен (*благочестиво крестится*)**

**Паломник. Я не знаю, кто такой этот ваш Караваджо и никогда его картин не видел, но хорошо, когда Святой Отец прощает кого-то и избавляет от груза грехов, которых всегда вдосталь. Даже после смерти. Благословен Святой Отец (*благочестиво крестится, становится на колени и начинает ползти на них к ступеням Собора*)**

**Второй зевака. (*благочестиво и с наслаждениям крестясь еще раз*) Свят-свят!**

**Первая проститутка. Знаю я одну в Риме, которая уже две недели носит траур, а сама лицом и душой еще чернее!**

**Вторая проститутка. Говорят, хочет погубить красоту и любовь мужчин и уйти в монастырь, так страдает!**

**Третья проститутка. Дура.**

**Первая проститутка. Что в монастырь собралась, если правда – дура конечно, ибо радостей итак мало в жизни, так хоть любовь чтоб была в избытке! А что страдает – нет!**

**Третья проститутка. Это отчего же?**

**Вторая проститутка. Очень любила его, говорили даже – хотел он ее под венец повести.**

**Третья проститутка. Это не повод. Сколько времени прошло с тех пор! И сколько об нее с тех пор потерлось!**

**Первая проститутка. Дура ты! Человек он был хороший и божий, а вовсе не еретик, всё врали, из зависти и желая разъярить Святого Отца! А художник – так вообще великий, душу просветляет, пусть даже и мраком! Жаль его. Так надеялись, что он вернется.**

**Стража. А ну-ка, курицы, расступись и дай проход папскому нунцию монсиньору Больдоне!**

**Первая проститутка. (*после паузы*) Монсиньоров хоть отбавляй, словно собак бездомных, а хороших людей и художников мало, обсчитаться на пальцах!**

**Вторая проститутка. Жаль его! Сохрани Господь его душу, услышь молитвы Святого Отца о прощении и не дай попасть в ад, не заслуживает он!**

**Первый нищий. Рая он заслуживает, ибо человек божий! А я с ним не раз ночевал на одной скамье или паперти! Все уж в сон, а он вина выпьет, глазом вцепится и если кто ему из братьев нищих и других разных убогих приглянется – сразу за картонку и писать!**

**Второй нищий. Подайте во славу Святого Отца и радостного события – прощения великого художника Караваджо! (после паузы и задумчиво) О своей душе молитесь и креститесь, дуры продажные! Синьора Карваджо ждет большее, чем рай – вечность и любовь людская, трепет душ до скончания веков!**

**Третья проститутка. Ишь ты, умник нашелся! А ну-ка прочь отсюда!**

 **Папа Павел V. (*к Ородолизо и глядя на площадь*) Они по моему не очень-то и рады. Им всё равно. Да и стращали мы в свое время именем Караваджо вдосталь.**

**Ордолизо. Им всё и всегда всё равно, Ваше Святейшество, Вы же знаете! Они покорны, это главное. Прикажут распять и сжечь – выполнят. Скажут кричите и пойте «Осанна!» – запоют. Им всё и всегда всё равно.**

**Папа Павел V. Да, здесь вы правы. Стоим на этом, благословение Господне. Еще не хватало, чтобы толпа вдруг захотела роптать и решать, о чем-то собственным умом судить, а мы позволили!**

**Ордолизо. Они никогда не решатся и не сумеют, сами себе не позволят, Ваше Святейшество, Вы же знаете! Это страшно.**

**Папа Павел V. Да, знаю. Ибо вправду страшно, для всех. Редкий взойдет над страхом, а как такие кончают испокон веков – известно. И в особенности сегодня. Стоим мы на этом и именно поэтому вечно нужны… Верьте, Ордолизо, что даже если однажды восторжествует Искуситель и вера в Господа рухнет, станут же верить в Сатану или вообще ни во что не верить – и тогда изобретут кого-нибудь Святого, кто стоял бы над всеми, покорял и подчинял, направлял умы и души, не позволяя им и множеству людских жизней теряться в мире, делал так от имени какой-то высшей истины, пусть даже вполне земной. Это истина, ибо я их знаю, до сути и глубины их потрохов понимаю. Им нужно подчиняться – в этом рай, свобода же ад, лишь испытания и бездна неизвестности… от дьявола и дарит одно страдание. Лишь познай свободу и исчезни то, что подчиняет мудрой дланью и направляет, не дает усомниться в святом для ума и дел – разверзнется эта адская бездна под ногами, и тогда только пропадай и страдай. И тогда – всё рухнет, друг мой Ордолизо. А мы от этого храним людскую поднебесность, строго и достойно, вечно будучи на страже основ, то есть того, что подчиняет и делает рабами, от свободы и горя ее бережет. Оттого во все времена они сами ищут, кому бы покориться, кто направил бы мудро и весомо. И оттого мы и дело наше вечно, от Господа и благостно. Оттого в нас вечно испытывают самую сущностную для жизни и праведную нужду. Лишь познай свободу – адом предстанут мир и жизнь, бесчисленные реки вполне обычных дел, поступков и событий… Адом раскроется и окажется всё, для мира и людской жизни привычное, в чем мы, лаская и подчиняя души и усыпляя умы, приучаем не ощущать боли и ада не видеть, не чувствовать и не различать… И совершаем великое и благое дело, ведь быть может – через горнило бед и борьбы привнесли бы тогда свет Господень, любовь и совесть, свободу в то, что есть ад, но поди знай, что случилось бы по дороге и довелось ли бы добраться до пристойного ее завершения. А так надежнее.**

**Ордолизо. О, Ваше святейшество по Господнему мудры! Однако, важно, что хоть они привычно безразличны к сути дела и покорны, благословляют и славословят Вас!**

**Папа Павел V. Да, это главное, одно неотделимо от другого, лишь так всё держится. Лишь так всё может сохраниться прочно и устоять до конца времен – привычкой к почтению, покорности и славословию вышестоящих, сплоченностью в этом. И даже не важно, кто будет наверху и что за истину приучит почитать. Подчинение – суть и самое главное, на нем всё держится и стоит. Людская жизнь и мир, не знающие мук умы и души. Рухни подчинение – всё рухнет. И нет поэтому дела более святого, нежели беречь этот прочный, выстроенный на подчинении единым для всех законам и канонам, заповедям и истинам мир от различного рода бунтарей и смутьянов, основы и всеобщий покой разрушающих. Чего бы не касалось – живописи, веры, морали или представлений о мире, которые вера и ее авторитеты диктуют. И оттого должны пылать костры и полниться тюрьмы – ради всеобщего блага. Свобода – искушенье сатанинское и горе, от которого надо беречь. «Актом веры» называем мы костры с еретиками, куда зовем прийти толпу, заставив ее гневно и ненавистно улюлюкать. И это суть и основа всего, вечная. Встань на площади с костром, как перед этим становился на колени перед Распятием Господним или обликом Мадонны с Ним Младенцем на руках, продолжи и подтверди одно другим, содействуй праведной расправе и покажи так крепость веры, единой со всеми вокруг, в собственном уме и сердце, докажи ее неколебимость и что сам – правильный и добрый католик-прихожанин, а не смутьян и еретик, которому однажды на костре сгореть. Акт веры и праведной сплоченности со всеми в ее истинах, подчинения тому, что их раскрывает. И всё работает отлично, Ордолизо, как вы сами знаете, ибо речь идет о вечной сути и конечно – о нерушимой истине страха. Страх перед пытками и смертью на костре силен в любом. Однако, страх перед свободой в любом же сильнее и властнее. И это внушает надежду, Ордолизо. Веру, что Дело Святой Церкви и мир не рухнут однажды, каковы бы ни были перемены и искушения.**

**Ордолизо. Склоняюсь перед Вашей пророческой мудростью!**

**Папа Павел V. А сегодня я в особенности светел душой и радостен. Окончилось несколько смущавшее мой покой, давнее дело, с этим связанное. И я еще раз убеждаюсь, что принял тогда верное решение.**

**Ордолизо. (*предпочитая ответить хоть что-нибудь, нежели промолчать*) О да, сомнений нет, особенно сегодня!**

**Папа Павел V Мы были по Господнему милосердны. Его сгубила болезнь, хоть помимо нее, точившей его изо дня в день, было заготовлено кое-что. А в бедствиях своих он сам виновен, лишь платил по законному счету!**

**Ордолизо. Ваше Святейшество может не сомневаться – этот человек не вступил бы в Рим живым, а ваша простительная булла могла читаться бы только в его поминовении.**

**Папа Павел V. (*с оттенком презрения и властно отреззая*) Я и не сомневаюсь. Иначе бы вы не служили мне и не стояли изо дня в день рядом. Однако же славно, что нам во имя Господнего Дела не довелось совершать тяжелых для души вещей, а совершилось оно самой Господней волей, еще более неотвратимой и карающей. Он заплатил. Он мертв. И не опасен поэтому. И знаете – чем более мертв и не опасен, тем сильнее любим всеми и мной!**

**Ордолизо. (*всё более смелея*) О, несомненно! Он ведь был великим живописцем, просто слишком самоуверенным и дерзким!**

**Папа Павел V. (*воодушевляясь и с увлечением*) Ха, великим! Не то слово. Сколько нынче не примутся копировать его свет – подобно ему не напишут, ибо никогда не сумеют понять и скопировать то, что за светом стояло!**

**Ордолизо. А Господу и Святой Церкви понравится, если примутся повально подражать ему в свете?..**

**Папа Павел V. (*всё более и более благодушно*) Отчего же нет! Прекрасная живописная находка, при умелом использовании способная небывало в полотно вовлечь и лишь сделать святые сюжеты еще более властными над умами и душами. Да и просто красиво! Он вправду проложил новую дорогу, гений и смельчак! И пусть по ней, не забывая о святой узде идут!**

**Ордолизо. (*что-то помечая на бумаге в папке*) А как быть с тем, что он открыл дорогу не в одних лишь возможностях света, но еще и в привычке изображать священные сюжеты излишне натуралистично, делая святых простыми людьми, наполняя события и их человеческими чувствами, сохраняя облик моделей и часто используя в качестве тех шлюх?**

**Папа Павел V. (*от души смеясь*) Оставьте Ордолизо, в самом деле, что с вами сегодня? Шлюх конечно дозволено использовать лишь по прямому назначению, на полотнах с Мадонной им места быть не должно, подобное есть святотатство, впрочем – не столь серьезное… А в остальном… Вы знаете, всё больше мне кажется, глядя на его полотна, что он был мудрец и здесь… Лики простых людей, достоверно и искусно переданные, привносят в полотна необыкновенную религиозную правду, заставляют наполниться трепетом перед их смыслами, если только правильные смыслы вкладывать! И в этом с ним была главная проблема – любил покойный, помилуй Господь его душу, излишне своевольничать и бунтарствовать, использовал его великие находки для передачи собственных, зачастую весьма спорных и неприемлемых чувств и настроений. А главное – нас испугала нового волна, всегда бывает так. И должно спеть «виват!» тому, кто не боится приносить новое, готовый ради этого погибнуть и заплатить цену! Ведь то, что казалось не так давно в его полотнах и живописном методе святотатством, вы знаете, если взглянуть ныне трезвым и спокойным взглядом, очистив от наиболее своенравного и радикального – великий путь в живописи и ее служении Делу Господнему! (*убежденно*) Великий!**

**Ордолизо. (*со внезапной остротой и пытливостью*) За что же тогда мы обрекли его на столь незавидную участь, не дав дожить в покое положенное и написать еще очень многое?**

**Папа Павел V. (*не обращая внимания, благодушно и с увлеченностью схоластических споров*) О, я скажу вам! Он был опасен, лично и сам по себе, сутью его, а вовсе не его новаторство и метод в искусстве! Он, с его бунтарством и необузданным нравом, на службу им, а не делу Церкви и Господа поставив искусство и метод, заставлял испытывать в отношении к тем чувство страха и опасности, подчас преувеличенное. Мы же просто разумно отделили одно от другого, опыт и заветы – от губительного балласта. (*сурово и серьезно, чеканя*). Такие люди, друг мой Ордолизо, опасны живыми и способными силой воли и страстью в творчестве и убеждениях, охмурять их идеями и настроениями… Пока вместе с новаторством, исканиями и протестом бурлят жизнью… Дышат, кипят вдохновенной, на глазах рождающейся и изливаемой мыслью, способны в ней кого-то убедить. А став мертвыми и ко всеобщему благу упокоив их мятежные души, прекратив смутьянствовать и сбивать с толку и выверенного пути толпу, по крайней мере – оного внушать опасность, они полезны необычайно, верьте мне! (*вновь с благодушием*) Свет его – прорыв, чудесен! Глядишь на полотна – пьешь его вместе с мыслями, и кажется всё мало!**

**Ордолизо. (*осторожно присоединяясь*) А натура и способность ее передавать!...**

**Папа Павел V. (*с увлечением отзываясь и подхватывая, начиная идти с Ордолизо по теряющемуся вдали коридору*) О да! Пускай он иногда переходил грань, но правда натуры приносит в его полотна силу и правду религиозного чувства необычайную, а бывает – невероятную глубину мысли.**

**Ордолизо (*сам увлекаясь*) О, конечно! Никогда бы его «Призвание Матфея» так не увлекало, пусть в нем даже были бы тот же свет и те же самые образы Господа, Святого Петра и остальных, но не было этого наверняка подсмотренного им где-то в жизни образа молодого человека, так по странному растерявшегося и глядящего на золото… Знаете, бывает не пойму, но чувствую в нем какую-то глубочайшую, бесконечную, целиком не постижимую мудрость, он привносит ее во все полотно и в сам сюжет!**

**Папа Павел V. Да только ли это! А «Успение»! Шлюха – шлюхой, но скорбь Святых Апостолов там по истине способна очистить и сокрушить душу любого, пусть даже не ученого простеца, так наставляя Вере и Делу Господнему. Ведь Апостолы скорбят там, словно простые люди, скрепленные одной нерушимой и святой верой и делом ее, ради которого способны погибнуть сами и только что утратили великую соратницу, Богоматерь, подарившую им Учителя, а миру – Спасение. И человечность чувств необыкновенно к месту, учит вере, как ничто иное! Ведь и были Апостолы простыми людьми, лишь стали Святыми в их праведной жертве и верности Господу и Учению, глубокая мудрость! Он знаете ли, был философ и большой мудрец, жаль только, что отвращал от себя и его искусства нравом и бунтарством! А написал он для дальнейшего научения пути и вдохновения поколений вполне достаточно, границу мы установили мудро.**

**Ордолизо. (*словно рассказывая увлекательный слух*) А известно ли вашему Святейшеству, что он, как поговаривают, ни разу даже не прикоснулся к этой его шлюхе-модели?**

**Папа Павел V. (*удивленно, но с необычайной заинтерсованностью*) Да что вы? Просто святой! Даже я бы на его месте не устоял!**

 ***Заливисто смеется и вместе с немедленно подхватившим его веселье Ордолизо, продолжая что-то с юмором и умом обсуждать о Караваджо, медленно расстворяется в дали словно бесконечного ватиканского коридора.***

 ***Занавес.***